



Б. А. ГРИФЦОВ

Судьба К. Н. Леонтьева

На земле все неверно и все неважно; все даже нереально, а действительность и вековечность настанут после гибели земли и всего живущего на ней¹.

К. Н. Леонтьев

I

Очень сложная, богатая чувствами и событиями жизнь Леонтьева все же поражает своим единством. Большой простоте, почти схематичности тех тайных сил, которые, проходя через всю его жизнь, вызвали развязку трагедии, соответствует пестрота его явной, действительной жизни. И долго будет казаться, что отдельные ее периоды, отдельные нити его судьбы совсем различны и несвязуемы между собой. Катастрофично, скачками идет его жизнь, и в то же время ее отдельные периоды и чувства длительны и медленны. Такое психическое богатство, разумеется, ценно уже само по себе.

Но еще более редкой кажется та посвященность жизни идее, которую это разнообразие периодов может сначала сделать незаметной. Леонтьев был врачом, консулом, цензором, помещиком, публицистом и монахом — в таком разнообразии профессий нельзя найти служения идее в том смысле, в каком находят его у общественных деятелей, выразителей какого-нибудь заранее принятого мировоззрения. Менее, чем кто другой, Леонтьев хотел примыкать к какой-нибудь идейной традиции, оставаясь искателем истины и с редким любопытством принимая испытания и перемены. Разнообразие жизненных впечатлений Леонтьева очень затрудняет доступ к его идейному творчеству. Но как славянский вопрос служит только примером для его очень отвлеченных метафизических мыслей, точно так же пестрота чувства оказалась узором, необходимым для того, чтобы в нем ясно вы-

делились основные линии его жизненной идеи. Как будто теряясь в разнообразии, он сумел выразить трансцендентную сущность своей души с таким единством, которое было бы недоступно кабинетному мыслителю-профессионалу.

Единство и *жизненное воплощение* — вот еще черта, редко встречающаяся у современных людей, которые спешат как можно скорее устроить свою жизнь по данному типу. Идея Леонтьева выразилась в трех проблемах, которые сменяют друг друга со странной для живой жизни логической последовательностью и которые совпадают вместе с тем (едва ли случайно) с тремя различными периодами его жизни. Поэзия, философия, религия — такова последовательность областей, которых коснулся Леонтьев в своем творчестве. Мучительная молодость с неосуществимо острыми чувствами и требованиями, затем период земного счастья, осуществленного с исключительной полнотой, внезапный кризис и наконец все надвигающаяся необходимость отречения и покорности — таковы душевные периоды, во всем сохраняющие связь (нелегко уловимую, но всегда чувствуемую) с логическим ходом мысли Леонтьева. Впрочем, едва ли может быть названа логической та триединая формула, которая прошла и через его жизнь и через его мысль. В ней сверхлогическая убедительность, а главное — сверхлогическая катастрофичность. Как нельзя было ожидать счастья после периода чувств, неутолимых принципиально, так невозможно думать, что его «демонический» эстетизм, вполне свободный от христианских примесей, приведет к православию, принятому с полной отреченностью и редкой убедительностью. Кризис, за которым блеснет внезапно, но уже победно и ослепительно, антиномия всему прежнему, отрадная любовь к тому, что казалось враждебным и невозможным, — вот факт, бесспорно присущий ходу жизни и ходу мысли Леонтьева. Его не хотелось бы считать случайным. Наоборот, антиномичную последовательность не лучше ли было бы назвать основным законом человеческой жизни или, по крайней мере, ее основным постулатом? Но она редко бывает видна с такой ясностью, как у Леонтьева.

О детстве Леонтьева сказать можно мало. Стоило бы разве отметить воспоминание о комнате матери, где так много цветов, где зимой всегда слегка пахнет хорошими духами, или еще об утренних молитвах в том же красивом кабинете матери с видом на засыпанный снегом сад. «И от этих слов псалма мне все све-

тился какой-то и дальний и коротко знакомый, любимый и теплый свет». Отдельный факт, который лишь в связи со своим «обращением» Леонтьеву захотелось вспомнить².

А затем долгие годы тянется молодость, болезненная, аналитическая, пропитанная тем соблазнительным ядом меланхолии, который стал сочиться так обильно в литературе гораздо позже, скорее уже в наши дни. Трудно сказать, хорошо ли такое подчеркивание отдельных тонких впечатлений, любование знаменательными мелочами. Из этого метода вырос такой большой писатель, как Гамсун. Тот же метод разлился по различным писателям и странам и расколол души на мелкие грани, жизнь — на драгоценные мелочи и неизбежно повлек за собой почти невыносимую и губительную грусть. Может быть, и неутолимая грусть и безнадежная любовь к маленьким радостям служат предвестием большой творческой эпохи, когда сквозь утончившиеся чувства ярче блеснет живительный огонь? У Леонтьева, во всяком случае, эта долгая юность и упорная верность болезненно грустных чувств привела к позднему, но яркому расцвету.

Но еще долго, до конца 60-х годов, появляются его лирические романы и повести, которые так резко и несправедливо осудил он сам позже и которые так охотно напутствовал Тургенев. Когда знаешь позднейшее учение Леонтьева, от его блеска меркнут эти романы. Но сами по себе, при всей своей неотчетливости, они могут к Леонтьеву очень интимно привязать. В них нет искусства аполлонического, потому что слишком элегичны и разрозненны впечатления, слишком велик сумбур отдельных происшествий, мелькающих туманно людей, неожиданных символических связей и неверных, неутолимых чувств. В атмосфере романтической на Западе и в нашей декадентской много раз еще повторялось то же неудавшееся, незавершенное искусство, которое, однако, для читателя со сходными переживаниями может стать таким дорогим, как <им> светлое Grand Art³ никогда не станет, всегда оставаясь неизменным, прекрасным памятником для «бескорыстного созерцания».

И все-таки эти лирические романы — еще не искусство. Нет в них того «священного ремесла», которое дает силу собой жертвовать и свои трагедии скрывать за большими и ярко очерченными внешними образами. Поэтому автобиографические записки Леонтьева (например, «Тургенев в Москве») или его письма иногда звучат сильнее, чем его романы, для которых нужно было придумывать события, тогда как вся прелесть этой меланхолической созерцательности как раз в том, что событий нет и не нужно.

Маленькие радости, длительный основной меланхолический тон и романтическая надуманность чувств — вот черты первого периода. «Я был на втором курсе и очень много страдал в этом году». Или еще определеннее: «Я пять лет подряд в Москве все грустил, все раздирался, все анализировал и себя и других и, содрогаясь, все подозревал, что и меня другие анализируют “с язвительной улыбкой”, все учился и нестерпимо мыслил; мыслил и учился. Болезненно любил, болезненно мыслил, беспокойно страдал». Много позже Леонтьев пишет, что уже в 1855 г. «он вспоминал об этом с ужасом и почти со страхом». Ужас и стыд — да, конечно, но далеко не преодоление, потому что еще через 10 лет можно услышать в рассказе «Исповедь мужа» (напечатан в «Отечественных записках» за 1867 г. под заглавием «Ай-Бурун») голос этого непреодолимого врага. Когда знаешь, что позже Леонтьев смог просто жить и радоваться пестроте восточной обстановки, любовнице-гречанке, удару хлыстом по лицу французского консула, то это раннее постоянство меланхолических чувств кажется странным. Тем изумительнее победа над вымышленным, аналитическим, над теми чарами, яд которых оказался таким сладким и непреодолимым для многих.

Кто опрокинул надо мной
 Полночных мук беззвездный купол,
 И в этот кубок чьей рукой
 Подлит отравы малый скрупул? ⁴

Так один современный поэт определяет это знакомое современности душевное состояние, когда малая, незаметная отравка сопутствует всему и радость, не заостренная ею, невозможна. Леонтьев очень последователен в таком романтическом самоотравлении. У него болит грудь, и болезнь скоро пройдет, но так хочется нестерпимо мучиться мыслью, что болезнь неизлечима. Друг должен оказаться Мефистофелем. А любовь? Вся прелесть ее в том, что она несчастна. Любовь к З. К. длилась пять лет, она дошла до пламенной страсти, и в конце наступило хорошее время ⁵. Но не им она определяется, а теми «нерешительными отношениями», которые были вначале. Леонтьев вспоминает, что он твердил неустанно две строки Ключниковова, малозамечательно го поэта:

Я не люблю тебя, но, полюбив другую,
 Я презирал бы горько сам себя ⁶.

«Это стихотворение было тогда мне ближе всей остальной поэзии, ближе Пушкина, Фета». И одного из своих героев Леонтьев

также заставляет твердить эти строки, еще раз связывая поэзию со своей выдуманной жизнью.

«Ваша комедия — произведение болезненное, но хорошее. Немногие так начинали», — говорит Леонтьеву Тургенев. И самому Леонтьеву остается подтвердить, что у него все основано «на тонком анализе болезненных чувств».

Что чем порождено? Пленил ли литературный образ, и его захотелось разыграть и в своей жизни? Или творился этот образ с тем, чтобы еще раз пережить ту болезнь, которую потом сам назовет стыдом и ужасом и которая тем не менее остается верной темой и поэзии и жизни?

В ненапечатанных письмах * к матери из Крыма, где Леонтьев был врачом в севастопольскую кампанию, все еще полно воспоминаниями о том тягостном, что было пережито в Москве в студенческие годы, когда «легонькое чувство выросло в гиганта по милости воображения» и потом приводило к отчаянию. В результате глубокое равнодушие больной души ко всему, холодность усталого и обманутого в ожиданиях сердца, странно требовательного и до крайности робкого, как он сам говорит в одном из тайных признаний. «Le coeur ne peut être pris chez moi qu'après que la personne me dit qu'elle m'aime»⁷. (Всякий раз, когда хочется сказать о себе что-нибудь личное, он переходит к французскому языку в своих регулярных, неласковых письмах к матери.)

Этими отдельными черточками уже намечен душевный склад. Он станет отчетливее в рассказах, в искусстве, которое то ли черпает из жизни свои соки, то ли жизни отдает свою беспомощную мучительность.

«Подлипки» — так называется первый из напечатанных им романов (Отечественные записки, 1861). Он весь полон деревенски-элегическими чувствами, может быть даже воспоминаниями о милом Кудинове, где прошло детство Леонтьева и где он так хотел мирно «прижиться хоть на несколько лет». Только таким неопределенно-широким именем и можно было озаглавить роман, сюжет которого туманен, а план сбивчив.

С большим удивлением находишь его в 60-х годах и в «Отечественных записках»! 60-е годы так прямолинейны, так преданы мыслям, неумелы и жестки в чувствах. Жизни и чувствам решительно не доверяли, хотелось идей, схем. Хотелось думать об общем, отвлеченном и бесчувственном долге. Мораль рассказа

* За разрешение ознакомиться с этими письмами, как и вообще за помощь при изучении Леонтьева, приношу сердечную благодарность священнику И. И. Фуделю.

ценилась больше его увлекательности, и тяжелый натуралистический язык не считался недостатком. Как сильны были эти лозунги, видно из судьбы Тургенева, писателя крайне субъективного и до последнего холода отчаявшегося, который, однако, позволял себе быть собою только в маленьких повестях, считая обязательным для романов общественные события и деятельные характеры, вошедшие в его романы таким чуждым и неубедительным элементом.

Я говорю это вовсе не для того, чтобы сравнивать Тургенева и Леонтьева, и тем более не для того, чтобы оказывать предпочтение второму перед первым. Романы Леонтьева явно несовершенны, они значительны только в отдельных частностях. Но они искренни и неожиданны. Вот только, что нужно отметить.

Пересказать роман «Подлипки» было бы очень трудно. О чем эти записки Ладнева? «Мне хочется рассказать вам историю моей первой любви». Но в романе не одна любовь, их целых три, они все лишь намечены, и, кроме того, введена масса действующих лиц, кто только мог оказаться летом в Подлипках. Ладнев очутился в них один, зимой. «Если вы никогда не видали первого снега в деревне, на липах и яблонях вашего сада, то вы едва ли поймете то глубокое чувство одиночества, которое наполнило мою душу». От этого одиночества захотелось рассказать о пестрых впечатлениях юности или еще вспомнить о том, какой богатой могла бы быть жизнь сердец, жизнь в Подлипках, где «летнее солнце освещает такую уютную, зеленую и мирную красоту».

Быть может, и вся молодежь, наполнявшая шумно дом в Подлипках, была несложна и обыкновенна. Но хотелось придать ей придуманное очарование. Сережа женится на Оленьке, и, конечно, эта чета окажется совсем обыденной. Но еще в детстве, когда впервые была прочитана мифология, казалось, что Сережа — Аполлон, что Оленька — Венера. Их свадьба, их отъезд вселяют грусть. «Скрылись надолго за стриженными акациями изгороди мои дорогие мифологические существа». Надолго, вернее — навсегда. Потому что, когда позже с ними Ладнев встретится, они будут жаловаться на скупость тетушки, будут так далеки от мифологии.

И другие легенды кажутся явнее и нужнее жизни. В усадьбе служатя молебны. «Как блистали ризы священников тогда на дворе». И все-таки тогда думалось еще: нужна ли ектения о благорастворении воздуха, раз голубой воздух в Подлипках уже так благорастворен.

Но та же легенда во время всеобщей в великопостный вечер примет иной, более страшный оттенок. Длинная белая зала.

«О. Василий начинает звучным, густым, возрастающим голосом: «Се Жених грядет во полунощи». Раскрытая дверь темного коридора, глубокое молчание всех других комнат, ландшафт, освещенный месяцем, редкий, зимний сад, полосы тени от деревьев по снегу, пустынная, обнаженная аллея, пропадающая за недоступными сугробами, и таинственная мысль о безлюдности огромных полей... Тогда я, бывало, кланялся в землю, и мне, поверите ли, казалось, что в самом деле идет откуда-то жених среди ночи...»

Это ожидание Жениха даст развязку чувствам, с которыми сердце само не в силах справиться. У друзей Ладнева влюбленности завершаются похищениями. А у него от влюбленности остается только неясное воспоминание, как о цветке, пахнущем горьким миндалем. Только несколько дней чистой, глубокой неги и тоски. Или приятно вспоминать локоны и «дикое платье с белыми полосками», не думая о завершенных страстях, а лишь любуясь «чем-то кротким и прозрачным, как хрусталь».

Сильнее и крепче других любовь Ладнева к Паше, простенькой, тихой и робкой дочери о. Василия. Но эта главная тема и покажет всего яснее постоянство неверных чувств. Последнее, решительное свидание Ладнева с Пашей. Они сидят в поле. Ладнев думает, что любит ее всей душой, но боится жертв. Она покорна, но он колеблется. Колебание разрешится мыслью о том, что Паша — дочь о. Василия, того самого, кто призывал грядущего Жениха. «Я смотрел на туманные поля: это были те самые поля, по которым за непроходимым зимним садом шел когда-то жених во полуночи... И я оскверню *шаткой страстью* этот чистый образ!.. Я встал и сказал ей: пойдём домой».

Ладнев просит Пашу ради ее счастья уехать из Подлипок. Она покоряется, и он рад победе над собой. Но чего стоит эта победа! И как в эту душевную борьбу у Ладнева входят в зародыше все те тайные силы, которые разрослись после в душе самого Леонтьева и вызвали отказ от тонких чувств и от эстетики с ее радостью — ради Афона и Оптиной пустыни.

Сбивчивый, еле намечаемый узор тонких и колеблющихся чувств вдруг прерывается неожиданным вопросом: «Бедная моя Греция, где ты? Где же тот благословенный угол, где я могу найти любовницу без упреков и без разврата, бескорыстную и бесстрашную жрицу любви?» В детстве казалось, что Сережа — Аполлон, а Оленька — Венера, что мифология близка и осуществима. Но это не так. На место мифа стала «гнусная посредственность», «дряхлое колебание чувства». «Страшна худоба после родов, синие жилки на поблекших руках; но это все не так ужасно, как моя собственная слабость».

Миф оказался неосуществимым, тем более проклята и безобразна жизнь. Бесстрашие, о котором напомнил приблизившийся Жених, приводит к слабости и безобразию физиологизма. И когда борьба напряжется до крайности, тучи вдруг разорвутся ясным восклицанием, неожиданным для молодости Леонтьева, но предсказательным для его последней участи. «О, Боже мой! не лучше ли стать схимником или монахом, но монахом твердым, светлым, знающим, чего хочет душа, свободным, прозрачным, как свежий осенний день?»

Конечно, восклицание это преждевременно. Но сил не хватало, чтобы жить без верного, точно намеченного пути. В чувства вкралась мечтательность и слабость, и ничто не может утешить. Деятельность, какая бы то ни была, может только занять время, но, наверно, не даст никакого ответа слабому и растерянному сердцу. И даже возникающее учение не может успокоить, прежде чем не изжита до конца меланхолия. Отдельные положения того «эстетического деизма», на котором Леонтьев успокоится позже, уже возникают, и даже весь роман «В своем краю» («Отечественные запiski», 1864) построен на них. Герой этого романа, домашний учитель Милькеев, — проповедник аморализма. «Нравственность есть только уголок прекрасного, одна из полос его. Иначе куда же деть Алкивиада, алмаз, тигра?» «Нельзя не возненавидеть человека, которого надо беспрестанно жалеть». «Другие исполняют долг честности, а я исполняю долг жизненной полноты». Вот некоторые из афоризмов этого предвестника ницшеанства, неожиданно появившегося в 60-х годах. Однако и основы его учения об истинной аристократии, о личности как главном элементе разнообразия вполне в духе Ницше.

Будущее учение, бесспорно, возникает. Уже в своих юношеских письмах Леонтьев невольно прибегает к эстетической оценке. В его милом Кудинове должно существовать только то, в чем он находит поэзию: «Мать умная, образованная, красивая, оригинальная, энергичная; тетка — старуха горбатая, приятно-безобразная; няня, чрезвычайно умная, несколько злая, но в высшей степени оригинальная... Здесь все должно быть поэтично и характерно! А братья мои — казалось мне — были ни то, ни се». Он не сойдет с этой своеобразно жесткой точки зрения и в том случае, когда энергичность матери так больно отразится на его судьбе. (Она запретила ему жениться, запрещала писать.) Или и к Тургеневу Леонтьев привязался потому, что тот оказался «гораздо героичнее своих героев». Он был не похож на «жалкого труженика, которых вид и тогда уже прибавлял яду в мои внутренние язвы».

Но возникающее учение не успокаивает хотя бы потому, что оно пока только прирожденная, невольная манера относиться к окружающему. Оно нисколько еще не страстная программа и не оправдание жизни. Поэтому Леонтьев не знал, что делать ему со своим нищепанским героем. Его случайной смертью пришлось завершить окончательно разбредшиеся в разные стороны мелкие события помещичьей жизни.

Роман этот холоден и решительно неудачен. Да и где же было изобразить чувства уже осуществленной «Греции», уже сбывшейся жизненной полноты, раз учению о них, стройному и как бы насыщенному, так мало соответствует путь собственных чувств, томительных, неразрешимых, упорно элегичных.

Зато когда Леонтьев вновь возвращается к лирике, к своим безвыходным чувствам, возникает искреннейший и, пожалуй, лучший из его рассказов — «Исповедь мужа» («От<ечественные> зап<иски>», 1867). Он очень прост по теме и плану, простота которых, однако, совсем не огрубилла оттенки чувств.

«Слава Богу, я не беден! Морской ветерок веет в моем саду; кипарисы мои печальны и безжизненны вблизи, но прекрасны между другой зеленью. По морю тихо идут корабли к пустынным берегам Азовского моря. Паруса белеют вдали. Я с утра слежу за ними... Чего я хочу? Я покоен». «Когда я один, я могу думать о себе и быть довольным: при других, как бы хорошо со мной ни обращались, мне все недостаточно. Разве бы триумфальное вступление в город при криках народа, в прекрасную погоду, на лошади, которая играла бы подо мной, и не в нынешнем мундире, а в одежде, которую я сам бы создал... Это я понимаю. Иначе о чем заботиться? Не лучше ли следить за медленным бегом кораблей?»

Это то же самое спокойствие верного одиночества, которое иногда Леонтьев находил и в себе и о котором он писал матери еще из Крыма, «Je commence perdre même la fraîcheur de ce désespoir ou de cette bile qui me rendait si malheureux à Moscou»⁸. Успокоительное, но страшное чувство примирения с тем, что одиночество правильно завершает неизбежно неудавшийся путь. И если «Исповедь мужа» описывает какие-то события, так это только для того, чтобы показать их неизменную горечь. Конечно, «надо платить иногда тоской за свободу», иногда герою кажется, что он умирает от полноты душевной, от чувств нерасстраченных и оказавшихся излишними для слишком скупой жизни. Но тогда можно сломать толстую трость о дерево вдребезги и этим как будто себя утешить.

В рассказе превосходно описано возникновение волнующих чувств, которые окажутся тщетными и неосуществимыми, но должны бы быть угодными Богу. «Кто сказал вам, глупцы, что тот, чья рука покрыла землю коврами цветов, тот, кто научил человека воздвигать узорные дворцы и храмы... По чьей воле мы в сумерки поем грустную песнь про страшного ангела с мечом и про степь, по которой веет вечерний ветер, — кто из вас решил, что волнения чувств и страстей не плодотворны и не угодны ему так же, как и узоры храмов, и узоры цветов, и волнения моря, и волнения музыки?» Очаровательная неправильность этого периода, как ничто, передает и близость и неосуществимость счастья, таинственную антиномичность чувств. Мысль о счастье станет еще томительнее, когда придет Лиза, у которой такие сильные руки, за которую можно бояться, как бы не вышла она слишком грубовата. Но «ее глаза мрачные — чудо». «Она скачет на всякой лошади и с камней бросается в море плавать». Она не станет, конечно, спрашивать о правомерности волнений. А герою остается только прибегнуть к бессильной мольбе: «Боже! дай мне силы быть счастливым!» Но хотя внешние условия сложились благоприятно и Лиза согласилась даже выйти за него замуж, все же мольба не исполнилась, и счастье для него оказалось труднейшим подвигом. Не потому ли, что яд влюбленности ему все же нужнее, чем какое угодно счастье.

Он убеждает Лизу выйти за него замуж, чтобы он охранял ее, как зеленые листки бутона охраняют будущий яркий цветок, «чтобы быть независимой, порадовать больную мать, чтобы жить вольно и широко, когда захочется, и в запасе иметь верного друга для черных дней, для дней болезни, отворачивания и обманов». Так он сам предлагает. «Мне ли следует окончить весну ее жизни?» Листки сохраняют цветок до поры до времени. Только и всего. «Придет время, и отпаду, и высохну».

Это время приходит очень скоро, с приездом грека Маврогениса. «Какое простодушие, какая искренняя пламенная молодость во всем, в улыбке, в блеске синих очей, в черных коротких кудрях, которые падают на лоб, в жажде жить и веселиться». «Как может быть красив человек, когда он одет по-человечески, а не по-нашему. Вошел он в белой, чистой фустанелле, в малиновой расшитой обуви, с кисточками на загнутых носках; золотой широкий пояс, полный оружия, синяя куртка разукрашена тонкими золотыми разводами; длинная красная феска набекрень, и с плеча на грудь падает пышная голубая кисть».

Утонченному читателю, может быть, смешным покажется этот грек-победитель и его птичий наряд, в котором передана пла-

менная молодость с утерянной нами непосредственностью. Но что ему может противопоставить леонтьевский элегичный герой? Разве вспомнить слова Руднева (роман Леонтьева «В своем краю»): «Как мало нужно человеку, чтобы прожить век в неспешном труде и *пламенном*, и торжественном молчании»? Эти слова так же искренно и полно выразили бы его, как голубая кисть и золотые разводы выразили Маврогениса. «Пламенное молчание» — как нелепо сочетались слова! Не должны ли они больше рассмешить, чем пестрый наряд грека? А Лизе они, конечно, непонятны и не нужны совсем. Ей веселее играть в мяч с Маврогенисом и петь его песенку:

Не плачь, красивая девушка!
 Путь мой лежит за горы...
 Я везде найду красавиц, но долго не останусь
 Ни с одной из них нигде, и назад не вернусь!

Развязка ясна. Даже борьбу, которую ждала Лиза, герой счел излишней, любуясь, как у нее брызнули «слезы невыносимого счастья, теплый майский дождь между двумя сверкающими днями». Плохо только, что они уезжают. Если бы вернулись! Он подарил бы им свое имение Ай-Бурун и дом и не мешал бы им. «Я пойду в монахи, и только раз в месяц буду навещать вас». Они согласны вернуться, но на обратном пути разбился корабль.

На последних листках исповеди герой заканчивает свои мечтания. «Лиза была прекрасна, и она жила». Если бы они вернулись, он воспитывал бы их ребенка. «Что во мне было только цветистыми мыслями, в их ребенке стало бы кровью и делом с ранних лет... О, Лиза! Где ты?»

Но судьба, разумеется, очень последовательна и справедлива. Раз она дала *цветистые мысли* — это уж слишком щедрый дар. Нельзя желать увидеть их осуществление. И тем более нельзя помышлять о счастье еще и для себя.

«Исповедь мужа» с полной определенностью замыкает цикл чувств, родившихся в Подлипках. Имеет ли, однако, исследователь право считать эти лирические повести главой из автобиографии Леонтьева? История поэзии приучила относиться с большой осторожностью к лирическому костру, на котором сгорает поэт. Но письма и воспоминания Леонтьева одною из своих сторон так тесно примыкают к основному тону его повестей, что на этот раз в реализме чувств нельзя сомневаться. Фактическая фабула — это, конечно, неважно. А меланхолическая любовь к неутолимым волнениям, к заранее принятому за невозможное счастье так характерна для десятилетия в жизни Леонтьева, когда созидались его мысли. Быть может, жизнь чувств у него

была пестрее, чем у его героев; быть может, он захотел лирически полюбоваться лишь одним из присущих ему душевных тонов. Но важно и то, какой тон он счел достойным этого любования, достаточно сильным, чтобы ему лирически отдаться. Самый осторожный анализ все-таки признает единство и верность болезненных ощущений и в жизни, и в лирике Леонтьева.

В таком случае можно сделать очень важное наблюдение. Чтобы добиться своих блестящих, цветистых мыслей, Леонтьеву необходимо было проходить путь пламенного молчания — от века путь мыслителей и поэтов. Быть может, еще более жестоко следует сказать. Пламенное молчание все-таки не лишено героического плаща. Быть может, и мучительная влюбленность в З. К. будет спасена стихами Ключникова. Как бы ни был беден их смысл, они все-таки стихи. Но беспомощная мольба: «О, Боже, дай мне силы быть счастливым!», но решение: «Мне ли окончить весну ее жизни?» — эти последние лирические признания лишены уже всяких героических покровов и наблюдателю, не отравленному лирикой, должны показаться жалкими и низменными.

Однако именно в этот мучительный период созидалась, отчасти в отрывках уже и высказывалась, та эстетическая теория, которая стала главным делом и смыслом жизни Леонтьева. Даже можно найти и внешние показатели завершившегося созидания: поворот к политическому консерватизму, который А. М. Коноплянцевым, биографом Леонтьева, справедливо отнесен к 1862 г., а затем разрыв с «Отечественными записками». В следующие, счастливые годы своей жизни Леонтьев только подыскал *неудачные* примеры для своей теории.

Тогда становится еще более ясным, как мысль и поэзия (по справедливости могущие быть названными «творчеством из ничего»), которыми мы так отравлены, что не можем их яд изъять из жизни, — как они, по существу, враждебны самой творящей жизненной силе. Болезнь не менее враждебна ей, чем влюбленность, но из влюбленности, из болезненной мечтательности и остроты душевного зрения вырастают лирика и великолепные теории, которые тем ярче, чем неосуществимее, тем пленительнее, чем более противоположны здоровому, оптимистическому, домашнему счастью, без особых мыслей, без особой напряженности, но зато с достаточно звериной любовью.

«Исповедь мужа» была, можно думать, верным отражением чувств Леонтьева, но поздним: когда рассказ печатался, у

Леонтьева давно уже иначе сложилась жизнь. В октябре 1863 г. он был назначен секретарем консульства на острове Крите. И с этих пор начинается время, которое он сам всегда будет считать счастливейшим и незабвенным. Через полгода Крит сменяется Константинополем, затем идут Адрианополь, Тульча на берегу Дуная, с ее исключительно богатым адрианографическим разнообразием, албанская Янина и наконец Салоники — таков очень пестрый маршрут службы Леонтьева. Удачно и легко сложившиеся условия, смена городов, их пестрота утолили наконец его «тоску по жизни и блестящей борьбе». «Только разнообразная, сложная жизнь Константинополя могла удовлетворить моим *нестерпимо* сложным потребностям, — писал он позже К. А. Губастову, своему товарищу по службе. Настало наконец время раскрыться придавленным силам и испытать счастье. Очень удачно судьба приурочила этот душевный момент к Востоку. Даже этнографическое разнообразие и достигнутая наконец обеспеченность были для Леонтьева даром удачным, почти необходимым. Здесь была найдена исключительная декорация, редкий подбор внешних средств, пригодных для выражения его душевных сил, таких напряженных, противоположных и разнообразных. Конечно, и при иных условиях этот момент настал бы, ибо Леонтьев был призван не только проповедовать «долг жизненной полноты», но и на себе испытать до конца те противоречия сил и страстей, которые книжному мыслителю могут показаться воздушно построенной словесной антиномией.

Только строить антиномии Леонтьев склонен был очень мало, и можно себе представить, как этот счастливый период его жизни был прост по своему последовательному аморализму и сложен по бурности страстей. Леонтьев вообще был настолько силен, что сумел все периоды своей жизни прожить с достоинством, без послаблений, не вспоминая об ответственности, не замечая теорий о примате нравственного начала. Даже доброту, присутствующую ему как психическая данность, он мог проявлять щедро, не боясь нарушения принципов аморализма. Нет, особенно в счастливые годы он о жизни своей заботился больше, чем о теории, и та и другая вырастали своевольно и своеобразно.

Зная стойкость Леонтьева и его путь, можно представить себе схему его пестрой, может быть до предела чувственной и поветхозаветному благословенной жизни. Но, кроме схемы, почти невозможно передать ничего, потому что здесь начинается непереходимая для литературы грань, почти недоступная слову вообще область. Слово — всегда лишь отвлеченный намек, а литература — анализ или легенда. Но вот наступают ощущения,

которые так сильны, что не нуждаются в колеблющемся анализе, и так самодовлеющи, что презрительно игнорируют легенду. Не в них ли истина? И зачем, зачем нужна околдовывающая литература? Как это понимал Толстой, готовый назвать дурманом все дорогое в литературе!

Пример Леонтьева — только частное подтверждение этой почти шаблонной мысли о недоступности для литературы всего положительного, всего счастливого. Об этом обмане искусства нельзя забывать. Если судить по литературе, и особенно по лирике, жизнь человеческая состоит только из безвыходных терзаний. А на самом деле что-то дает силы, чтобы их дольше выносить. Это *что-то*, конечно, — в том житейском счастье, которое не передается индивидуально и не нуждается в словах. Для передачи его даже и *образы* (все же словесные) не более пригодны, чем абстрактные термины.

Поэтому столь мало скажут о счастье Леонтьева его эпические греческие повести, такие успокоенные, но, в сущности, поверхностные. Этнография закрыла в них волнение чувств, а события слишком просты и слишком скромны, чтобы можно было счесть их автобиографическими. Но недаром именно эти повести так хвалил Толстой⁹. И недаром сам Леонтьев, который вскоре назовет свои ранние лирические произведения «бессмысленными, неисправимо испорченными, грубыми и безнравственными», от восточных своих повестей не отречется никогда. В самом переходе от болезненно-близкой лирики к далекому эпосу отразилась важнейшая перемена в жизни Леонтьева.

У него, бесспорно, настала та полоса чувств, когда можно спокойно и медленно рассказывать повседневные события из жизни простых людей почти так же, как сами простые люди рассказывали бы о себе. Стиль этого рассказа, полного любви к подробностям жизни, уверенности в силе традиций и быта, этот очень редкий тип литературы не есть ли норма здоровой литературы вообще? Леонтьевские восточные рассказы нравятся людям немолодым, трудовым и спокойным, которые читают немного в час отдыха, у которых их семейный уклад, их дела не поколеблются ни в одном оттенке, какие страшные литературные видения ни проносились бы случайно над ними. А здесь у Леонтьева как раз и не встретишь ничего страшного и призрачного. У него самого, очевидно, так утолились чувства, его собственная жизнь так решительно ушла от литературы, развиваясь бессмысленно и самовольно, что появились силы подойти к чужой жизни без всякого задора идей.

Леонтьев назвал сборники своих рассказов — «Из жизни христиан в Турции», самым тяжелым заглавием как бы подчеркивая спокойствие повествования. И что бы ни взять из этих книг, будет ли место действия на Крите, напоминающем собою «корзину цветов на грозных волнах моря», или в горном безлюдном Эпире, — склад жизни и чувств останется тот же. Милый край — родина. Она крепче всего привязывает сердце к жизни, она спасет от страха перед какими угодно событиями и, столкнувшись с любовными неверными чувствами, одержит над ними верх.

«Как прекрасен молодой грек, когда он в пышной и яркой одежде идет по тихой сельской улице гордой поступью», «как чиста наша девушка» — вот две основные мелодии. И обе они приводят к мысли о том, чтобы милая и крепкая родина сохранилась в своей «изящной и величавой простоте», подобной красочности и простоте природы. «Небо синее, море бурное, вдали снег алмазный на горах, а над головой как жар горит, все в розовых цветах, наше старое персичное дерево». Такова природа на Крите, и неотделимы от нее события происходящего там рассказа «Хризо» («Русский вестник», 1868).

Хризо, сестра грека Йоргаки, убежала к турку. Грозный ее дядя убил этого турка, а Хризо умерла в родах. И возлюбленная самого Йоргаки умерла. Но разве события приносят человеку горе? Не наоборот ли: беспредметная раздвоенность, уничтожившая самую возможность событий, не она ли влила горечь и в чувства? Об этой горечи и не знает Йоргаки, он любил и готов был всех греков позвать помериться с ним в счастье, но смерть близких только крепче привязала к Криту и настойчивее заставила пойти на войну. «Прочь от меня любовь и сострадание», — спокойно говорит он. «Комната полна раненых, но все шумят и смеются». Таковы этика и чувства у простых, у настоящих людей.

Вот тихий рай: гордые юноши, чистые девушки, алмаз снегов, жар цветущего персичного дерева. Рай без сентиментализма, ибо чувства не оторвались самовольно и не воздвигают мучительно-призрачной надстройки над жизнью, без фальшивой изнеженности, ибо жестокость жизни откровенна, смерть и войны встают на пути, но не пугают.

Другая греческая повесть «Аспазия Ламприди» («Русский вестник», 1871) вводит в круг более мирных чувств и событий, той же только крепости и здоровья. Воспитанный по-европейски мечтатель Алкивиад Аспреас жаловался на то, что «эпические герои ссорятся из-за жен, собак и подносов», и фантазировал о героической Элладе. Но повседневная жизнь отучила его и

от европеизма, и от боли мечтаний и горьких влюбленностей, свойственной только юности. Сам не заметишь, как верными шагами придет примирение и как будет оно радостно. Европеизированные юноши, мечтающие об Элладе, будут уличены в сношениях с нечестивыми разбойниками, убившими самого епископа. Так же кончатся и иные мечтания Алкивиада, столь же юношески бессильные, столь же европейски призрачные. Алкивиад влюбился в Аспазию, но она ответила на его искания: «Я любила, ты знаешь, мужа. Бог взял его у меня. Это мое несчастье. Кого я буду любить?» Алкивиад готов «отчаяться в успехе простого каприза» и решается на брак с Аспазией. Но появляется соперник Петала, одетый грязно и бедно, зато экономический человек. Он побогаче Алкивиада и не увезет Аспазию в далекие Афины. «Здравый смысл ржавых людей торжествовал над афинскими мечтами». Аспазия страстно и крепко целует Алкивиада, но все-таки она обручена с Петалой. Был ли Алкивиад огорчен чрезмерно? Нет. «Нет милой жены, но зато есть свобода отыскать другую, еще более милую». Так легко распадаются мнимые связи. Налет мыслей, влюбленности не так силен на крестьянской по существу душе Алкивиада. Он возвращается домой более спокойный и дельный.

Всего сильнее дух быта и спокойствия в большой повести «Одиссей Полихрониадес», которую сам Леонтьев так ценил. Он окончательно подчинился складу речи простого человека, которому хочется вспомнить все мелочи, все несложные разговоры, крохотные происшествия своей жизни. В повести есть превосходные частности. Очень отчетлив пейзаж: «Как бело наше загорское село. Как груды чистейшего мела, сияет оно на солнечных лучах посреди виноградников. А вокруг за садами дальняя пустыня безлесных высот». Убедительно намечено, как среди этих гор медленно движение жизни людской, как мирен труд и отдых. Нельзя не улыбнуться примитиву песни, которую Одиссей вспоминает, говоря о своей матери: «Белокурая и черноокая, очи оливки, а брови снурочки; ресницы как стрелы франкские, а волосы сорок пять аршин». Но в общем невыносимо подробны эти воспоминания о школьных годах, о первых испытаниях и успехах, о встречах с консулами и пр. Повесть интересна только своей уверенностью в возможности какого-то старинного, покойного счастья.

Эти повести за чистую автобиографическую монету принимать было бы невозможно. Но, конечно, они служат очень ярким, хотя и косвенным показателем того, что какая-то, и решительная, перемена произошла в Леонтьеве. И никогда, конечно, не

будет достаточных материалов, чтобы представить себе ясно и подробно картину его чувств. Очевидно, события сами по себе были настолько властны, что говорить о них не стоило. А за то, что они действительно были, ругаются беглые воспоминания о них в письмах, особенно к К. А. Губастову, — отдельные фразы большой остроты. «На Босфоре я нахожу все, что мне нужно, и больше нигде». «Губастов, давно уже не слышу вашего приветливого голоса. Напишите побольше. Сядьте опять на возвышении у вашего очаровательного окна и посмотрите на священные для моей памяти Принцезы острова».

В таких словах вспоминалось позже это счастливое время. В сборнике «Памяти К. Н. Леонтьева» напечатаны недавно письма, относящиеся к самому этому времени. Как отличны они от крымских писем к матери! Не рано, но ярко пришла полнота жизни. Ход ее определяется признанием: «Не думайте, чтобы моя жизнь была бесцветна. К сожалению, она очень бурна» (апрель, 1868). Наряду с этим другое, циничное письмо: «Чтобы вполне постичь поэзию Адрианополя, послушайте моих советов: 1) не откладывая заведите себе любовницу, простенькую болгарку или гречанку; 2) ходите почаще в турецкие бани; 3) постарайтесь добыть турчанку, это уж не так трудно» (февраль, 1868). И в письме конца того же года из Петербурга беглая фраза: «...есть сердечные дела; и еще какие!»

Этих упоминаний, конечно, недостаточно, чтобы подойти к чувствам Леонтьева этого времени. Элементарностью болгарки-любовницы они, во всяком случае, не исчерпываются. И страсти также не были просты, только жизнь внешняя сложилась так удачно и сложные страсти находили утоление настолько, что даже к беллетристике можно было отнестись с полным спокойствием и не считать ее предназначенной для того, чтобы еще более раздирать раны поэта. Наоборот, стало возможным говорить о далекой и спокойно-ограниченной жизни. Только один раз Леонтьев попытался изобразить страсти и беспокойство чувственной тоски — в романе «Египетский голубь», который был напечатан много позже и без конца («Русский вестник», 1881—1882).

Первые же строки романа намечают место, которое должно быть ему отведено в истории судьбы Леонтьева. Это записки знакомого по «Подлипкам» Ладнева, переехавшего на Восток, скорее воспоминания о том, что с Ладневым было на Востоке, написанные в иное, горькое время и истомившие своей радостью так, что окончить их не хватило сил. Здесь сплетаются, таким образом, противоположные чувства и различные силы. Роман написан в позднее, горькое время, но цельностью героя он связан с

ранним, мучительным периодом, а пестротой восточных картин — с утоленными радостями счастливой жизни на Востоке.

«Когда я жил в Адрианополе, в турецком (восхитительном для меня) квартале, на моем дворе, в углу у высокой и сырой стены было большое персиковое дерево. Оно росло у самого окна моей маленькой гостиной, и на ветках его часто ворковал голубь».

Образом персикового дерева в цвету еще раз дается связь с райски-спокойными чувствами «Хризо». Но оттенок явно уже другой. В «Хризо» дерево пылало как жар, и что-то холодное, замершее было в его пылании рядом с алмазом снегов. Вместо прежнего алмазного (аполлонического) сияния — теперь томление от воркования голубя. «Я сидел и думал, думал, думал... Никто меня не тревожил и не развлекал. Я сидел и думал и все ждал чего-то. А голубь мой все ворковал и ворковал, все громче и громче, любовнее и любовнее. Что за счастье, что за мучительное счастье! Что за тоска! Что за ожидание!» Почти такое же ожидание бывало у Ладнева еще в Подлипках. Но здесь оно не оборвется так бесследно. Этот роман — единственная у Леонтьева попытка лирически принять Восток и жизненную полноту, соединить правду эпически утолимой простоты с «тонким благоуханием возвышенных чувств» — два строя чувств, столь трудно соединимые.

И теоретически Леонтьев требует синтеза. Конечно, Турция прекрасна, «Восток живописен, Европа в самом дурном смысле проста». Она скучна так же, как ее цилиндры и сюртуки. На Востоке есть противоречия, краски в пейзаже, в костюмах и нравах. Но «если бы к прелести и пестроте картины прибавить *потрясающую музыку страстных чувств* и наслаждения живой и тонкой мысли!» И в чувствах легко наметить ту же противоположность: сам Леонтьев не отдал ли дань тонким, но европейски прозрачным ощущениям своей юношеской влюбленности и живописной, но элементарной простоте Востока своим письмом о любовницах? Вероятно, попытка соединить оба типа была им осуществлена и в жизни. Ее отражением служит этот роман. «Я обожал все оттенки романтизма: от самого чистого аскетического романтизма Тогенбурга¹⁰... до того тонкого и облагороженного обоготворения изящной плоти, которой культом так проникнуты стихи Гете, А. де Мюссе, Пушкина и Фета».

К последнему типу романтизма и относятся чувства цикла «Египетский голубь». Прежде о сладости неудавшейся любви говорили строки стихотворения Ключникова. Ту же роль лейтмотива играет теперь несколько менее безопасное стихотворение

Фета: «Свеж и душист твой роскошный венок». И декорация драмы иная. Элегические, величавые, но все же однотонные краски Подлипок (барский дом, разросшийся сад) заменены более пряными тонами. Вот комната Маши Антониади — героини, возлюбленной: темно-красный диван с бахромой ярко-палевого цвета; черная скатерть на столе, расшитая разноцветными турецкими надписями; стулья позолоченного дерева; на подушках вышиты «милые эклоги», пастушеские сцены, деревья, зелень, овечки на фоне белого шелка. В самих эклогах этих — уже романтизм, опасно соединенный с изнеженностью дивана, с пряностью красок. Лицо Маши видно в романе мало, но ее душевный облик дан откровенно. «В Маше Антониади было именно то, что мне было нужно. В ней было нечто такое, что меня томило; в ней как будто таилось что-то изящно растлевающее: нечто тонко и сдержанно безнравственное, нечто едкое и душистое; доброе и лукавое, тщеславно-милое».

Минутами у Ладнева пробуждается прежняя меланхолия, желанная неизбежность «пустых и бесследных вспышек бесполезного огня». Он вспоминает родину и куст черемухи, который цвел одиноко на острове среди заброшенной сажалки. «Черемуха цвела как будто сама для себя, я не мог дойти до нее и ни разу после того не видал ни этого сада, ни этого имения, но я не забыл его. Вот так и эта милая женщина останется навек в памяти моей». Но тогда он не был склонен успокоиться на этом малом утешении, потому что тогда у него было чувство, о котором позже он скажет так иронически: «Я верил тогда *в какие-то мои права на блаженство земное*». Ирония эта присуща позднему времени горьких воспоминаний, а тогда он действительно верил. И все нарастание чувств не должно было тогда оборваться бесследно. Мучитель — египетский светлый голубок — призывает как будто напрасно «к жизни сердца, к сладким и восторженным мукам взаимной любви». Адрианопольские краски все более раздражают: безмолвные переулки, крик муэдзинов, разноцветные дома и одежды «томят его до истинной муки», точно он сказочный принц, навеки запертый в волшебном саду. Но вот неожиданно и Маша Антониади переедет в Адрианополь, и начнется «год лиризма и удачи», «невывразимо светлый праздник».

Однако на этих общих восклицаниях роман прерывается. Мнимый издатель записок Ладнева сообщает, что записки остались неконченными, но сохранились отрывки из его дневника. Отрывки эти неожиданно тяжелы и прямолинейны. Ясно, что они не современны году лиризма и удачи. «Зачем я начал этот

несносный, этот мучительный рассказ». «Теперь я хочу одного — забвения, покоя». «Безмолвие! беззвучное, бесстрастное, безгласое забвение за морем глубоких снегов». «Я больше ничего не ищу. Все прошлое отравлено; все новое мне чуждо».

Чем сильнее отдавался Леонтьев (здесь его именем уже вполне возможно заменить имя Ладнева) воспоминаниям о том, что с ним происходило лет за 10 перед тем, тем тяжелее становилось видеть перемены и в себе, и в окружающем. Но море глубоких снегов не так отлично от моря бурной синевы, как его теперешнее отчаяние от прежнего, невыразимо светлого праздника. Теперь он знает, что «тайная жизнь открыта только вере», и уже с полной убежденностью может сказать, что «драма жизни нашей со всеми ее тайными и тонкими ощущениями полна мистической неразгаданности».

Этот финал романа будет непонятен, пока не рассказано о катастрофе, завершившей его счастливую жизнь. Но даже после катастрофы воспоминания о счастье двойственны. Правда, иногда эти дни счастья кажутся лишь «веселыми днями тщеславного ничтожества», но иногда даже теперь хватает сил оценить это минувшее счастье полной ценой и признать, что хотя бы в отношениях Ладнева к Маше Антониади была дорогая и редкая в жизни черта. «Мы расстались без пресыщения, без горечи, без всякой примеси того яда, который таится почти всегда на дне благоухающего сосуда восторженной любви». Уверенный тон этого признания уже показывает, что какие-то права на земное счастье действительно осуществились. Одна эта фраза позволяла бы сказать, что Восток дал Леонтьеву годы жизни. Все остальное и раньше, и после было каким-то ужасным томлением.

И тем не менее Леонтьев добровольно от кубка оторвался, вовсе еще не утоленный¹¹, до конца испортив себе даже условия земного существования. В этой его добровольности проявляется почти недоступная нашему разуму метафизическая неизбежность. В живой жизни так стройно осуществляютс безжалостные логические антиномии, точно исследуешь вовсе не действительную смену чувств, а последовательность беспристрастных логических терминов. Но катастрофа эта вызывает и другое чувство. Трудно поверить, что она разразится так театрально и так правдиво. Это соединение слов о театре и правде не должно удивлять. Только в сценических трагедиях бывают такие страсти и такие резкие переломы, которые по самому ходу жизни должны были бы стать ее обязательным достоянием. Конечно, не о силе людей свидетельствует та их приспособляемость, которая в обычной жизни почти всегда от моментов истинной трагедии приво-

дит к кукольной комедии или мещанской драме. И жизнь Леонтьева, его силой поднятая до истинного образа трагедии, кажется тем изумительнее.

Нужно ясно себе представить, чем была для Леонтьева его консульская служба. Раньше он нестерпимо мучился от своих оторванных мыслей, от преувеличенной болезни, от безденежья, от точно умышленно неудачных влюбленностей. От всех этих мучений Восток избавил. Отдавшись чувствам непосредственным, он подчинился теперь жизненной правде, которая вызвала любовь к событиям, к ярким краскам, к борьбе, к самой любви. Южный воздух облегчил грудь. Хороший заработок сделал доступной некоторую расточительность, без которой Леонтьев никогда не мог жить спокойно. Наконец, и его безграничное честолюбие если и могло быть удовлетворимо среди механических форм современной службы, то только на дипломатической службе и, по-видимому, только на этнографически и красочно беспоконном Востоке. В секретари консульства Леонтьев попал неожиданно, сослуживцы удивлялись его удаче, но и привычки его барственности и его холодный и острый ум находили здесь исключительно удачную среду. Карьера его шла очень быстро, и он прервал ее в тот момент, когда ему собирались дать новое повышение — место генерального консула.

Все и в чувствах, и во внешних условиях складывалось так на редкость счастливо, что никто, даже и сам Леонтьев, не мог ожидать переворота. С большим трудом можно найти симптомы его приближения, и то вовсе еще не страшные. Летом 1868 г. у жены Леонтьева открылись первые признаки умственного помешательства, оставшегося для Леонтьева несчастьем до конца его жизни. Ее болезнь приписывали тогда ревности. Говорить об этой болезни было бы неудобно, но случайной она не была. Впрочем, сам Леонтьев продолжал жить полно и бодро. В одном из писем к Губастову того же года можно найти странный намек на возможность каких-то перемен. Леонтьев пишет о своей ненависти к Европе и кончает письмо неожиданно: «Если вы не понимаете этого теперь, то поймете позднее, *если не отринете меня*». В письме 1869 г. мелькнет более резкая фраза: «Тоска такая на сердце, которую я еще в жизни не испытывал. Это какая-то новая тоска, *спокойная*... Главною виною — моя внутренняя жизнь. Я с ужасом вижу, что в первый раз в жизни *начинаю ничего не желать*». Но оба эти упоминания забудутся легко и быстро. На них не приходится настаивать точно так же, как на влиянии Афона, находившегося в округе консульства Леонтьева, который на Афон ездил по делам службы, иногда и по собственному

желанию, но делал это почти машинально: быт церковный был ему с детства близок.

Самый ход катастрофы таков: в июле 1871 г. Леонтьев заболел очень острой желудочной болезнью, которую принял за холеру, и в припадке болезненной тоски внезапно по наитию дал безумную клятву. Через 20 лет он описывал это событие так в письме к В. В. Розанову: «Лежа на диване в страхе неожиданной смерти, я смотрел на образ Божьей Матери (только что привезенный мне монахом с Афона)... Я думал в ту минуту не о спасении души... я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о телесной смерти и, будучи уже заранее подготовлен целым рядом психологических превращений, симпатий и отвращений, *я вдруг в одну минуту поверил в существование и могущество этой Божьей Матери*; поверил так ощутительно и твердо, как если бы видел перед собой живую, знакомую, действительную женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: “Мать Божья! Рано! Рано умирать мне”».

И тогда он поклялся в случае выздоровления поклониться старцам, «чтобы они обратили его в *простого и настоящего православного*», и даже постричься в монахи.

Оправившись от болезни, он верхом поехал на Афон, где пробыл только две недели, так как вспомнил, что дома осталась большая рукопись — шесть романов под общим заглавием «Река времен», над которыми работал уже 8 лет. Он бросил рукопись в пылающий камин, уведомил посла, что по болезни не может управлять консульством, и вновь уехал на Афон. На видавших его в Солуни за эти два дня он произвел тяжелое впечатление. Распространились слухи о помешательстве консула. На Афоне он просит сейчас же постричь его с монахи. Старцы не благословили его на постриг, он остался все-таки жить на Афоне, потом переехал в Константинополь, через два года вернулся в Россию, где также большей частью жил при монастырях, и наконец перед смертью в 1891 г. удостоился пострига. Постепенное приближение к сану отца Климента¹² займет всю третью часть его жизни, медленно, но неуклонно в продолжение 20 еще лет подводя к той развязке, которая так внезапно и с непонятной убедительностью предстала перед ним уже в момент решительного кризиса 1871 года.

Кризис этот очень красноречив в простом перечне фактов. Мать Божия представляется почти знакомой, но очень могущественной женщиной, которая спасает в момент невыносимой боязни, которой приносится в жертву роман, плод многолетних трудов, консульство с его щедрыми земными благами, страсти,

радость — в сущности, вся жизнь целиком, без остатка. Дальше о жизни Леонтьева почти нечего будет рассказывать: одиночество, бедность, фантастические мысли — вот и все. Но, пытаясь объяснить причины этого кризиса, Леонтьев бессилён. В том же письме Розанову он пишет о том, что ненависть к европейским формам жизни обуславливала возможность принятия христианства, к которому с детства у него была привязанность. Но дальше мы увидим, до какой степени эстетическое учение Леонтьева было антиномично христианству. Это учение точно так же, как жизнь Леонтьева на Востоке, было настолько самодовлеюще, что могло проходить мимо христианства, мысль о котором появилась только *в момент кризиса учения*. Теоретические выводы здесь не при чем.

Неожиданно убедительным становится другой намек в том же письме: «Прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сильнейших, *глубочайших* потрясений (слыхали вы французскую поговорку: «*cherchez la femme!*», т. е. во всяком серьезном деле жизни «ищите женщину»)». Этого намека, разумеется, не объяснят никогда никакие биографические данные. Нужно отметить только его категоричность. Какие страсти, какой тон чувств мог так обмануть, что жизнетворческая любовь обернулась в смертоносную силу? Почему любовь, вероятно дарованная человеку на радость, способна стать причиной ей противоположного черного и холодного монашества? Даже хорошо, что Леонтьев не дал никакого материала для этих безответных вопросов, тем настойчивее подчеркнув неразгаданность тайных и тонких ощущений, формально, но достоверно определив самую природу чувств. Напряженное до предела чувство вспыхивает потусторонним пламенем. Языческое довольство жизнью вдруг превращается в невыносимую необходимость жертвы. Не последовательное развитие сил, не разумное осуществление целей, но решительно непонятная катастрофичность, которую сам человек не предчувствует, которой он не поверил бы за минуту до катастрофы, — таков, очевидно, закон человеческой жизни, переводящий нас к крайним, трансцендентным порядкам человеческой судьбы.

Леонтьев сам превосходно сформулировал этот закон в том же письме к Розанову: «Причин было много разом, и сердечных, и умственных, и, наконец, тех внешних и, по-видимому (только), *случайных*, в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку внутренних перерождениях». *Мысль о полной иррациональности Высшей Телеологии* будет венцом сложной метафизической системы Ле-

онтьева, которую он не только логически построил, но и жизненно оправдал, не побоявшись принести в жертву Богу все дорогое и все живое.

II

Личная драма Леонтьева возбуждает далеко не только исторический интерес, она волнует своим постоянным приближением к каким-то областям таинственным и неминуемым ни для кого и в этом смысле могла бы быть названа пророческой. Но от нее и от беллетристических произведений Леонтьева можно вполне отвлечься: беллетристика его приобретает наибольшую ценность только как искреннее свидетельство о его личной судьбе. А как бы ни была интенсивна и мучительна личная судьба, она все-таки являлась лишь обстановкой, среди которой развивались, борясь, ряды мыслей, как бы заданных Леонтьеву для разрешения. Эти мысли и были проявлениями той Идеи, одержимость которой у него достигает поразительной силы, доказывая этой силой подлинность искания истины. У идей есть, конечно, свое существование, и, следя за ними, можно представить себе душу мыслителя лишь аренной, где самовольно развиваются мысли, борясь, уничтожая друг друга, а иногда доказывая свою самостоятельность еще более наглядно — уничтожением самой той конкретной жизни, которую они осенили. Так как для того, чтобы довести мысли до их логического конца или даже разрешения, нужна огромная сила, питаемая страстями и безысходными противоречиями личной борьбы, то и саму эту борьбу можно счесть созданием той же нестерпимо властной Идеи, только неизбежным следствием подлинного искания истины. Для своего проявления, таким образом, Идея нуждается в жизненной жертве, от света которой становится отчетливым Ее узор. Впечатления от внешнего мира могут быть случайны, но не случаен тот жертвенный пафос, который их окрашивает, и не случайна та связь, которая соединяет их в узор, мыслимый в идеале с беспредельной ясностью и отчетливостью. Так же случайна временная последовательность впечатлений. Вот в какой-то час подошел ближе всего к этому нестерпимо ясному узору, к тому таинственному кладу, открытие которого станет целью и содержанием всего земного существования, а потом опять, дробясь, умножаясь, увлекая, различные проявления истины отведут далеко от ее светозарного царства. Едва ли и возможно полное приближение к нему хотя бы на мгновение. В такой схеме мож-

но себе представить отношение между Идеей и жизнью, между приближением к истине и увлечением ее случайными атрибутами у всякого мыслителя. В частности, эта схема дает исследователю право не следить за развитием системы во времени, выделяя ее логическую структуру, и не придавать значения случайным, преходящим ответвлениям, как бы ни были они количественно богаты.

Одно из положений, высказанных сейчас, в применении к Леонтьеву придется пока оставить в стороне: вопрос о жертве переведет нас сразу в область религии, вновь вернув и к личной судьбе Леонтьева. Но раньше необходимо наметить логический план его учения, к которому остальные части этой схемы применимы вполне. И применить ее было бы тем более необходимо, что случайные ответвления проповеди Леонтьева нередко заслоняли сущность его системы. Система его, конечно, загромождена второстепенными подробностями славянского вопроса или бросающимися в глаза политическими проектами. Но и то и другое нужно признать случайностью. Те или иные впечатления необходимы, но изменилась ли бы метафизика Леонтьева оттого, что он стал бы изучать не положение различных племен на Балканском полуострове, а хотя бы Возрождение в Италии, не поверхностный политический вопрос, а более глубоко отражающее человеческий дух — искусство? Основы ее остались бы те же, может быть, внешнее выражение выиграло бы в большей отчетливости.

Впрочем, Леонтьев никогда не был спокойным писателем-теоретиком, систематизирующим свои мысли; он с увлечением отдавался случайно приходящим темам. И это только доказывает, как он верил в непреложность своей единой Идеи. «Я по складу ума более живописец, чем диалектик, более художник, чем философ, я *не доверяю* вообще слишком большой *последовательности* мысли, ибо думаю, что последовательность жизни до того извилиста и сложна, что последовательности ума никогда за ее скрытую нитью везде не поспеть», — так превосходно определял Леонтьев в письме к И. И. Фуделю свой интуитивный метод, одно воспоминание о котором могло бы освободить в современной философии силы для «метафизического полета ума». А уже и сам Леонтьев вполне основательно скорбел о бедности этого полета в наше время.

Но, разумеется, не доверяя последовательности или, лучше сказать, не понуждая себя к ней, а как бы отдаваясь потоку впечатлений, он еще более преданно служил последовательности, только иной, не внешней, вероятно не логической и во вся-

ком случае трансцендентной. Это *конечное единство психического центра* видно в пестрых писаниях Леонтьева с большой ясностью. Единый постулат выступает наружу в различных видах, далеко не всегда находя для себя соответствующие ему понятия и даже близкую среду.

В своих воспоминаниях Леонтьев рассказывает о том, на какой, до фантастичности случайной, среде успокаивались иногда его метафизические требования. Когда он был студентом-медиком, то «мечтал найти в физиогномике или в какой-то физиологической психологии исходную точку для великого обновления человечества, для лучшего и более сообразного с «*натурой*» людей распределения занятий и труда». Эта попытка была, конечно, вскоре оставлена. Но, в сущности, и позже для своих теорий Леонтьев находил материал не более близкий и не более доступный, чем физиогномика. И немалого труда стоит читателю отыскать теоретические положения в разных его воспоминаниях о Фракии, в трактатах о положении монастырей на Афоне или о греко-болгарских отношениях и не потеряться среди всех мягких карфиотов и свирепых кефалонитов, македонских греков и фракийских болгар, среди всех подробностей международной политики 70-х годов, которыми пестрят статьи Леонтьева.

Однако когда ему пришлось раз в частном письме* выяснять основы своего учения, он формулировал их вполне отчетливо, с неожиданной точностью позаботившись даже об их обосновании с точки зрения теории познания.

Письмо посвящено вопросу об общеобязательном критерии. Такой критерий может дать — убедительно доказывает Леонтьев — только эстетика. Только законы физики и эстетики обладают «одинаково всеобъемлющей экстенсивностью». «*Мистика* (особенно положительная религия) — критерий только для единоверцев, ибо нельзя христианина судить и ценить по-мусульмански и наоборот; *этика* и *политика* — только для человека, *биология* — для всего органического мира, *физика* и *эстетика* для *всего*». «Начиная от минерала и до самого всесвятейшего человека», ко всему приложима эстетическая оценка, формулу которой Леонтьев очень точно выражает в словах «*разнообразие в единстве*». Вот та основная идея, вполне оригинальная, на которой строится вся система Леонтьева. Он хорошо сознавал, какую решительную перемену во всех жизненных отношениях

* К-во «Творческая мысль» издало это письмо вместе с другим, не менее важным, отдельной брошюрой под заглавием: «К. Леонтьев о Вл. Соловьеве и эстетике жизни» (М., 1912).

должно произвести применение этой оценки — хотя бы своим неизбежным следствием — *аморализмом*. «Человек, не желающий себя обманывать, видит ясно, до чего часто эстетика с моралью и с видимой житейской пользой обречена вступать в антагонизм и борьбу». Тем не менее не было случая, который заставил бы Леонтьева прибегнуть к морали. Мораль оказалась ненужной, хотя Леонтьев несколько не стремился ограничить область своих наблюдений. Он не хотел говорить только о каких-нибудь бесстрастных созерцаниях, только об искусстве, под кров которого так охотно прибегают эстеты, отчаявшись в путаных и непримиримых жизненных противоречиях. Наоборот, Леонтьев с полной откровенностью ставит вопрос об *эстетике жизни*, почти обходя, считая второстепенной «отраженную эстетику искусства».

Каждое самое далекое ответвление мыслей Леонтьева вырастает из этого основного ствола. Он мало заботился о систематичности своего учения, но, точно помимо его воли, учение замкнутой связанностью охватило религию и историю, искусство и жизненную практику. Даже к религии он считает вполне применимой ту же аморальную оценку. «Не пытайтесь морализировать историю Церкви», — настойчиво предостерегает он, рядом примеров доказывая, как преданность религии вовсе не соединялась с добротой или чистосердечностью, как редок и случаен тот психический тип, к которому приложима оценка моральная.

И через все эти различные области его эстетизм протянулся в двух неизбежных чувствах, в двух строях понятий, как будто непримиримо антиномичных, но равно последовательно эстетических. Эстетическая оценка может исходить от чего-нибудь одного: или от требования бесстрастно оценить форму и выражающийся в ней с достоверностью трансцендентно-идейный момент, забывая об ощущениях, отойдя в сторону, как бы становясь жрецом, готовым заклать ради закона живое существо, или от противоположного требования — вновь восстановить живую цельность объекта. Все ли впечатления и сердечные бури убить, оценивая форму, или, наоборот, вполне довериться первому впечатлению, может быть случайному, но достоверному в своей оживленности? Вот два пути, к которым ведет эстетика, — и самое непосредственное, и самое абстрактное из проявлений человеческого духа. И по обоим этим путям, как бы ни были они противоположны друг другу, развивалась одновременно мысль Леонтьева.

Первый путь заставляет не обращать внимания ни на какую боль, не принимать никаких отклонений от формы, как бы ни

были они жизненны. С таким чувством Леонтьев писал свои статьи о литературе. Герои тургеневского «Накануне» однообразны, схематично-тенденциозны, словом, не удовлетворяют требованиям формы, — они должны быть отринуты, хотя бы для этого пришлось забыть те живые чувства, которые связывали читателя с этими, пусть и несовершенными, образами. Подобная оценка произведений искусства не может быть приписана исключительно Леонтьеву. Но и свои социологические исследования он писал с тем же чувством, с тем же требованием «одинаковых, бесстрастных, безжалостных оценок». «Боль для социальной науки — это самый последний из признаков, самый неуловимый»*. «А страдания? Страдания сопровождают одинаково и процесс роста и развития, и процесс разложения. Все болит у древа жизни людской». Леонтьев, конечно, прав в требованиях, предъявляемых им к искусству и к социологии. Если научное творчество имеет какое-нибудь право на существование в этих областях, если возможны самодовлеющие объективные оценки, то необходим и безжалостный критерий.

У него, так много страдавшего, это требование звучит особенно убедительно, и проведено оно с полной целостностью во всей его страстной, но ледяной метафизике. Может стать жутко, когда действительные события и человеческие чувства рассекаются бесстрастными основоположениями. Но даже в наиболее случайных своих практических выводах Леонтьев руководствовался только *безжалостностью мудреца*. Если Леонтьев так настойчиво боролся с либерализмом, ставящим себе идеал всеобщего благоденствия, то потому, что этот идеал он считал и недостойным человечества и, главное, объективно недостоверным, лишенным точного критерия. «Ведь благоденствие меряется чувством? Оно дело субъективное, признак неуловимый, жажда ненасытная, степень со стороны непонятная... Нет и не будет, вероятно, никакой статистики для определения, когда и где больше страданий и у кого они глубже». Между тем, по Леонтьеву, и к социологическим процессам вполне применима та же объективная оценка формы. Едва ли правомерен тот логический скачок, благодаря которому Леонтьев форму государственной власти принял за форму объективную, но, во всяком случае, все даже практические его выводы вытекают из прямолинейности его логических требований. Эстетика есть формальное ограничение или,

* Большинство цитат взято из сборников статей Леонтьева «Восток, Россия и славянство». В 2 т. М., 1885—1886. Ввиду выходящего теперь нового издания было бы излишним указывать страницы.

в переводе на плоскость истории, — «принудительная и стеснительная форма людских отношений»; как форма создает эстетический объект, так и всякий освободительный процесс в общественной жизни должен ставить себе цель «новых, создающих, то есть стеснительных, принципов». Освобождение как таковое пусто, и так как «либерализм есть отрицание всякого стеснения, всякого стиля», то он бесцветен, общеразрушителен, бессодержателен.

Практическая программа, вытекающая из этих принципов, была нелепа, но помимо тех случайных русских впечатлений, которые на нее повлияли, ясна и ее логическая случайность. С большим правом из тех же основных мыслей можно было сделать противоположные выводы. Но, конечно, было бы так же нелепо теоретическую систему оценивать по ее практическим выводам.

Таков первый из путей, намеченных эстетизмом, такова безжалостная логическая последовательность, заставляющая пройти его до конца с полным холодом страстей.

Другой путь, также с уничтожающей последовательностью пройденный Леонтьевым до конца, исходит из силы непосредственного впечатления. Принципом этого второго ряда эстетических оценок является «личность и сила живого своеобразия». Уменьшение жизненной силы, деятельного разнообразия, непосредственно возникающей красочности — под напором все более надвигающейся абстрактности, безличности, механических изобретений — вот процесс, который Леонтьев увидел в истории с мучительной зоркостью. «Сложность и драма истории» исчезает в так называемом прогрессе, уравнивающим все от костюма и до мировоззрения. «Живое — всегда сложное и туманное» — должно, казалось бы, быть единственной целью человеческой жизни, а не те отвлеченные и механические идеалы, которые легче бы счесть признаком смерти, чем признаком действительного прогресса. Из этого чувства вытекает вся страстность того практического романтизма, которым Леонтьев хотел остановить историю, стараясь найти, не осталось ли где подлинного героизма, нет ли героев безграмотных, но деятельных и сильно чувствующих.

Борьбу этих двух путей, конечно не нашедших себе полного завершения, то обрывавшихся на случайных остановках, то в самом деле приводивших к минутам гармонии, и представляет из себя судьба учения Леонтьева. Последняя цель всякого творчества и всякого учения и не может лежать в окончательном разрешении, с которым связана неизбежность окончательной ос-

тановки, а только в приближении к гармонии. Сам Леонтьев дал, можно думать, вполне точное определение этого верховного принципа человеческого творчества: «Гармония — или прекрасное и высокое в самой жизни — не есть плод вечно мирной солидарности, а есть лишь образ или отражение сложного и поэтического процесса жизни, в которой есть место всему — и антагонизму, и солидарности. Надо, чтобы составные начала цельного исторического явления были изящны и могучи, — тогда будет и то, что называется высшей гармонией». И от его системы как одного из жизненных явлений можно требовать лишь такой гармонии, т. е. связи, скрепляющей в цельный логический организм противоборствующие страсти ума.

Казалось бы, оба пути Леонтьева не могут существовать одновременно, не уничтожив друг друга. Но в действительности их ясно намеченные линии видны на всем протяжении его учения. Точно он хотел до конца исчерпать эстетизм в обеих его возможностях, не сомневаясь в конечном иррациональном их единстве. «Как всегда случается в истинно великих и роковых исторических событиях, живое чувство сердца и мечты возбужденного патриотизма совпадают в бессознательных стремлениях своих с самым верным, спокойным и дальновидным политическим расчетом», — так по частному вопросу он высказал уверенность в конечном параллелизме двух путей, которую нужно счесть постулатом всей системы. Все ее построение так же, как исходный пункт, намечало, таким образом, переход к мистике. Недоказуемое совпадение формального принципа с живым единством еще раз могло напомнить Леонтьеву, что «в явлениях мировой эстетики есть нечто загадочное, таинственное». В этом постоянном приближении к таинственному, в предчувствии Божества, создавшего безжалостность логических требований и неосуществимых, но ослепительно-ярких идей, в демонической борьбе с Божеством во имя осуществимой на земле гармонии и, наконец, в побежденности Божеством, в последнем самоуничтожающем смирении перед Ним скажется другая, *мистическая* судьба учения Леонтьева.

Сначала, конечно, нужно представить себе с возможной ясностью его логическую структуру.

Из отдельных глав учения Леонтьева можно на первую очередь поставить главу об искусстве. Искусство не стояло в центре его метафизики. «Отраженная эстетика искусства», естествен-

но, была для него второстепенной проблемой. Но, вероятно, для современности самый близкий подход к Леонтьеву дадут его отдельные мысли об искусстве и случайно появившиеся критические статьи. Едва ли он сам сознавал всю важность для русской культуры того, что он мог бы об искусстве сказать.

Одна из первых статей Леонтьева «Письмо провинциала к г. Тургеневу» — о романе «Накануне» — была напечатана в «Отечественных записках» 1860 г. по просьбе Тургенева. Почти последняя его работа — большая статья о романах Толстого, напечатанная за год до смерти Леонтьева в «Русском вестнике» под очень смелым заглавием «Анализ, стиль и веяние», — производит впечатление статьи не боевой, но написанной между прочим, на досуге. Эти две статьи почти исчерпывают материал для этой небольшой главы его учения, и в то же время обе они служат выражением цельных эстетических взглядов, применимых к гораздо более широкой области, одних и тех же, чрезвычайно нерусских критических приемов. Русская критика даже до сих пор еще не в силах дифференцировать искусство от социологии. Бедность мысли, приводящей к такому смешению ничего общего не имеющих между собой объектов, едва ли полезна даже для социологии, которой так охотно искусство подчиняют.

«Письмо провинциала» производит впечатление совсем одинокого, затерянного в 60-х годах голоса. Оно написано очень скромно, даже нерешительно, без всякого полемического задора, хотя Леонтьев сознает свое теоретическое одиночество. «Теперь нравственно-исторические вопросы везде пролагают себе путь, везде слышен голос искренней любви к пользе, поэзия говорит о высокой деятельности, и критика принимает нередко более исторический, чем художественный характер... Я мучился желанием отвлечь нравственный вопрос от эстетического». И сколько еще придется промучиться русской критике, чтобы счесть правомерным это не только законное, но даже довольно элементарное желание! А Леонтьев едва ли искренно написал о своем «мучении»; могло ли мучить то желание, которое было прирожденной манерой, могла ли мучить та зоркость взгляда, которая позволяла ему видеть, что отдельный объект действительно стоит отдельно? На замечания Леонтьева о «Накануне» можно было бы возразить: тем не менее роман полезен. Может быть, Леонтьев с этим согласился бы, но признать роман за эстетическую правду он по природе своей не мог бы. Все его замечания о романе вовсе не полемика, а только без умысла высказанные впечатления.

«Что за математическая ясность плана в “Накануне”. Разве такова жизнь? Жизнь проста; но где ее концы, где удовлетво-

ряющий предел красоты и безобразия, страдания и блаженства, прогресса и падения?» «План романа, — сказал я, — прост. Я выразился не совсем удачно; лучше было бы назвать его слишком выразительным, ясным, резким; от него не веет волшебной изменчивостью, смутюю жизни. Возьмите все лица: как ясно, что они собрались для олицетворения общественных начал». Леонтьев не хочет давать никаких квалификаций, льстивых или полемических, ни роману, ни самому типу творчества, который начинал так непоправимо губить Тургенева и русскую литературу вообще. Он не назовет даже «Накануне» романом плохим, но со скромной точностью укажет на второстепенное значение этой рациональной литературы: «Обыкновенно такие произведения с первого раза все наружу и лишены той способности к вечному обновлению, которую одарены создания более туманные». Но чтобы отнять почву у такого рода литературы, он лишит ее последнего реалистического обаяния. 60-м годам было бы потому трудно бороться с Леонтьевым, что он вполне искренно защищал реализм, но отказывался назвать реализмом те спорные отвлеченные мысли, которые за него выдавались. «Разве такова жизнь?» — спрашивал Леонтьев и по поводу «Накануне». «Разве изящество и многообразие натуры не есть сила сама по себе?» И, стоя прочно на той же реалистической почве, Леонтьев понимал только, *к чему реализм обязывает*, реализм подлинный, не боящийся тайны и многообразия действительности. Только такое произведение искусства готов был Леонтьев принять, по поводу которого и в голову не придет спрашивать: «Где здесь нравственный исход? что хотел сказать автор? чья вина? что надо сделать?» (Он думал, что даже по поводу «Рудина» и «Затишья» таких вопросов могло бы еще не возникнуть.)

Так обстоятельно Леонтьев делится своими очень точными и простыми впечатлениями. Но затем, вдруг воодушевившись, он дает определение искусства, далеко выходящее за пределы того малого материала, который он анализировал. Он вспоминает о глубочайших ценностях искусства, о той связи трансцендентной, которая всегда характеризует истинный реализм. «Душа полна, и грусть ее отрадна, потому что она слышит близость бога красоты! Ничего подобного не слышится при чтении “Накануне”. Определить с точностью, почему это, едва ли возможно... Вы не перешли *за ту черту, за которой живет красота*, или идея жизни, для которой мир явлений служит только смутным символом. А какая цена поэтическому произведению, не переходящему за эту волшебную черту? Она невелика».

В этом определении самодовлеющей ценности искусства и его символического значения ясно чувствуется, до какой степени

остротой отдельных своих мыслей Леонтьев опережал свое идейно бедное время. В одной этой фразе заключен конспект сложной теории, которую самому Леонтьеву не было охоты и времени развивать. Эта фраза не единственная. Просто, указывая на тот психический факт, который не давал ему права принять отвлеченную определенность «Накануне», он вновь проговаривался о ряде мыслей, которые могли бы быть замкнуты в теорию. «Мы любим непрочность и перерождение всех вещей, и никакой одно-сторонний идеал не насытит наше разбегающееся воображение» — отсюда последовательно вытекала бы романтическая теория воображения. Мало сказать, что ход русской критики вполне оправдал полемическую часть этой статьи, направленной, в сущности, против целой полосы русской культуры. Скромное и затерянное письмо должно было бы разрастись до трактата.

Сам Леонтьев заботился об этом очень мало. «Вы знаете, — писал, он своему молодому другу, — какое у меня дурацкое обилие мыслей; сам же я физически не в силах уже их распространять; кстати же сказать — и вы воруйте на здоровье, что нравится и с чем сердце ваше согласится. Это мне будет лестно, и только. Иначе ведь и нельзя развивать учение». На всю жизнь он и остался беспечным и щедрым. Но если о чем жалеть, то, конечно, о том, как редко темой его писаний становилось искусство. Конечно, термины искусства были бы гораздо ближе к его системе, чем малодоступные и малоинтересные подробности славянского вопроса или всегда злободневно-поверхностные политические новости. В этом отношении Леонтьев остался сыном своего времени и не мог уйти от вопросов, которые рационализм приучил считать самыми важными. Быть может, он сам жалел о том, что «у многих ли образованных и деятельно живущих людей в наше время, в России, есть тот сердечный досуг, при котором легко читаются и всей душой становятся понятными все эти великие и истинно досужие прежние поэты? Для понимания поэзии нужна особого рода временная лень, не то веселая, не то тоскующая, а мы теперь стыдимся всякой, даже и самой поэтической, лени!..» Этому стыду и Леонтьев заплатил дань, миновав в своих мыслях классического «гуляку праздного», хотя признавал, что «искусство есть цвет жизни и самое высшее, идеальное ее выражение».

О литературе он не писал теоретически (другие искусства то время старалось не замечать в своих теориях). В разных его статьях можно найти списки принимаемых и отвергаемых им авторов, но не как оправдание какой-нибудь его теории, а лишь как образцы его вкуса. Исковерканный стиль русского натурализма

приводил его в негодование, очерки Решетникова¹³ он находил бессмысленно грубыми, остроумно подмечал отсутствие чувства достоинства у Молотова, героя Помяловского, но принимал «эфирные стихи Тютчева» и «*всего* Пушкина, который не оскорбит самого причудливого вкуса». Борясь с «Накануне», охотно включал в свой список «Фауста» и «Первую любовь». Думал, что «Чайльд Гарольд гораздо реальнее притворных и напыщенно-холодных гражданских сетований Некрасова», который «заставляет себя какофонически петь на казенные темы». Убегая от желчной подозрительности и надуманной грубости натурализма, считал, что «старинная манера повествования и реальнее в хорошем значении этого слова», вспоминал, наконец, что на свете есть еще хорошие вещи вроде «Од» Горация в переводе Фета, «*Manon Lescaut*»¹⁴, трагедий Софокла и детских эпических песен новых греков, — словом, был чудаком, искавшим строгого стиля в ту эпоху, которую Достоевский назвал «серьезной, пресерьезной».

Но ни о ком из этих авторов Леонтьеву не случилось говорить подробнее. Только один раз он воспользовался своим монастырским досугом, чтобы приложить мерки стиля и совершенной формы к частному случаю, выбранному довольно неожиданно. По крайней мере, *так* к романам Толстого не подходил никто. Они слишком волновали своим нравственным смыслом и в один вопрос объединялись с проповедью. Леонтьев вовсе не безразлично относился к проповеди Толстого, наоборот, готов был ожесточенно бороться с нею как с одним из ликов своего постоянного моралистического, эгалитарного врага. Но это в другом месте. В романах же он оценивает их стиль, психологический анализ, веяние изображаемой эпохи, элементы подлинного реализма, как бы забыв, что существуют иные вопросы, ограничив свои метафизические способности узостью задачи. Ее узость, разумеется, мнимая. Ибо ничто о существовании идеи не говорит так, как непреложные принципы ее формы. Леонтьев, конечно, прав, как будто сделав своей темой лишь вопрос о том, в чем Толстой претерпел влияние русской реалистической школы. Тот, кто ограничился бы, читая этюд Леонтьева, этой явно его темой, все же ближе стоял бы к сущности творчества Толстого, чем при обычном внимательном розыске бытовых мелочей толстовской жизни. Леонтьев прослеживает, как постепенно Толстой освобождал свой стиль от реалистических уродливостей, достигая «совершенной, кружевной ткани чувств, как в своем излишестве психологического анализа спускался до натуралистической подозрительности», и как «зеркало художественного отражения

становилось все чище и вернее», как, выросши на тройном русском отрицании: политическом, моральном и эстетическом, Толстой сумел это тройное влияние преодолеть, поднявшись до рассказов, подобных «прекрасным сосудам из чистого, полупрозрачного, белого и дорогого фарфора», став «венцом реальной школы, самым высшим и полным ее проявлением».

Леонтьев ограничивается формальным анализом, все детали которого отчеканены. Но впечатление остается такое, что этот формальный и по своей точности достоверный вывод — только плотина, сдерживающая временно поток дальнейших метафизических вопросов и следствий. Вот признание в Толстом крайней грани реализма, его логически последнего напряжения — поставить на очередь проблему о том, что по ту сторону грани. Но условная плотина стойка. И как прекрасно это зрелище сдерживаемых следствий, ограничиваемого, но в каждый момент могущего возникнуть метафизического полета. От статьи Леонтьева, своим чистым стилем создающей самостоятельный эстетический объект, не хочется уходить. Она так спокойна, совершенна, холодна.

Но всегда одновременно в Леонтьеве чувствуются противоборствующие силы: горный холод логики и мятежные сердечные волнения. В списке его поэтов явно преобладает стилистический холод. Но по недовысказанным мыслям о «Накануне» знаешь, что он мог бы немало рассказать о разбегающемся воображении, о произведениях взволнованного романтизма. И много позже Леонтьев признавался в своей любви к «капризному романтизму». Этих рассказов, естественно, ждешь. Но какие-то случайности уводили его от этой темы. И даже нужно указать, что он был близоруко-несправедлив к творчеству Достоевского, единственного человека, который смог бы ответить на его требование «потрясающей музыки чувств». На Достоевского Леонтьев всегда брюзжал, находя у него лишь «безумные извороты больного и бессильного самолюбия», «трагизм каких-то ночлежных домов, домов терпимости и почти что Преображенской больницы». Трудно сказать о причинах этой явной ошибки Леонтьева. Отчасти она была наследием рационализма, заставлявшего его все же искать и темы, предмета в искусстве, а не только чистой и достоверной формы. Он хотел почему-то буквально, в быте понимать Достоевского. Еще больше в этом сказывается умышленное пренебрежение к искусству у Леонтьева, не потерявшего еще надежды — устроить и украсить человеческую *жизнь*.

Да, конечно, отчасти рационализм. Но еще гораздо больше — увлечение осуществимостью своей идеи, слепая надежда на воз-

никновение в жизни героизма. Эта надежда, на которую устремлены все силы Леонтьева, из которой проистекает вся возбужденность его ненависти, потерпит крушение. И этот *неизбежный кризис практического романтизма* будет иметь для новой культуры какой-то огромный предостерегающий смысл.

Искусство не важно, искусство — второстепенная проблема, потому что сама жизнь должна стать достойной эстетической оценки. Любопытно прекрасное в искусстве, но важно только прекрасное в жизни. «А “прекрасное” нынче все потихоньку спускается в те скучные *катакомбы пластики*, которые зовутся музеями и выставками и в которых происходит что-нибудь одно: или снуют без толку толпы людей малопонимающих; или “изучают” что-нибудь специалисты и любители, т. е. люди, быть может и понимающие изящное “со стороны”, но в жизнь ничего в этом роде сами не вносящие... Сами-то они большею частью как-то плохи — эти серьезные люди».

Увы! Леонтьев, вероятно, прав, и сами эти «серьезные люди» должны будут с ним согласиться. Впрочем, шутить об этом не хотелось бы, так как из всех попыток идеального устройства на земле попытка Леонтьева была наиболее строгой, наиболее требовательной. В ее неудаче нет случайности. В ней обнаруживается та *неосуществимость прекрасного*, которую нужно принять во всей ее серьезности.

Не постигло ли Леонтьева суровое наказание за его доверчивость, за слепую уверенность в правдивости жизни?

Тем большую остроту приобретает завершающий развитие его учения пессимизм, что по самой природе своей Леонтьев был проникнут верой в возможность жизни, представляющей из себя чистое и полное цветение, соединяющей интенсивность чувств с разнообразием внешнего выражения и со строгой чистотой формы. Нет самодовлеющего абстрактного ряда идей, нет призраков искусства — и то и другое лишь следствие цветущей жизни, лишь проявление ее богатства или ее близкие и осуществимые цели. Жизнь правдива, и не может быть идей, томящихся бесспорностью своего должествования и в то же время не осуществляющихся конкретно, не находящих себе выражения вовне, видимого и живого. Все четкие линии схем и логических построений Леонтьева освещены пламенем этой веры. Доверчивое увлечение безумной мыслью о богатой событиями и красками жизни у него так сильно, что он готов закрывать глаза на все

разочарования, которые все настойчивее и настойчивее будут вставать перед ним, готов уноситься в свою единственную, любимую идею, предъявляя к истории неумолимо-строгие требования, а когда она и малой их части не захочет исполнять, он будет искать хоть маленького островка жизни по его плану, готов будет забывать большое и видное, если только крохотная частность оправдывает его.

Леонтьев сознавал, как значителен должен быть переворот в человеческих суждениях, если только послушают его. «Чтобы вы могли понять меня, вам надо *забыть все, что вы знали*, и слушать меня долго и часто, увлекаясь не желанием переспорить, а жаждой понять». Так ответил он раз своему собеседнику по частному вопросу, но мог бы и даже должен был бы сказать о всей своей эстетике жизни. И, в сущности, разумом он до конца не увидел своей неудачи, потому что всегда находились еще нелепые примеры, которые *для него* оправдывали его теорию. Но теперь становится ясной во всей его судьбе *невозможность*, соединившаяся неотделимо с его «цветистыми мыслями». Только будут ли они для нас менее ценными оттого, что он сам не нашел для них осуществления и, может быть, доказал даже их неосуществимость вообще? Конечно, нет. Больше того: если бы они в самом деле были приложимы к жизни, стоило ли бы о них говорить? Они осуществились бы, и всякий теоретический интерес к ним бы пропал. Невозможность не нарушает чистоты идей, но она же придает драматизм всему столкновению Леонтьева с историей, всему постепенному отвержению Европы, русской интеллигенции, народа, историю которого составляет судьба его учения.

Первым объектом, подвергнувшимся эстетической оценке, была Европа. В «Египетском голубе» Леонтьев говорит о причинах своей вражды к ней: «Все путешественники надоели даже, говоря о живописном Востоке. Но дело не в маскарade каком-то, а в том, что европейская цивилизация мало-помалу сбывает все изящное, живописное, поэтическое в музеи и на страницы книг, а в самую жизнь вносит везде прозу, телесное безобразие, однообразие и смерть». Этот суровый приговор не был минутным впечатлением. Холодная страсть логики создала социологическую теорию развития, укрепляющую и обосновывавшую это впечатление. Полнее всего основная в учении Леонтьева теория развития им изложена в статье 1875 г. «Византизм и славянство» (важнейшая часть первого тома «Восток, Россия и славянство»).

Теория вновь уводит в разреженную атмосферу абстрактности, формальных принципов, безжалостных оценок. Чтобы по-

дойти к ним, нужно вновь проникнуться чувством Леонтьева, что «у идей нет гуманного сердца. Идеи неумолимы и жестоки». Как бы ни казалось неестественным с таким чувством изучать человеческую историю, здесь оно особенно необходимо. «Политика международная не есть сентиментальная идиллия». «Вы видите, я ничего не говорю о *сочувствиях*, о *страданиях* и т. п. Все эти сердобольные фразы ни к чему не ведут».

Такая строгость дала Леонтьеву силы создать точное определение культуры: «*Культура есть не что иное, как своеобразие*». Эта формула приводит к кажущимся сначала неожиданным следствиям: «китаец и турок поэтому, конечно, культурнее бельгийца и швейцарца». Чувство неожиданности не есть оценка правильности, для которой существует лишь один логический критерий: замыкает ли формула своими следствиями весь круг подлежащих ей объектов? Идею своеобразия Леонтьеву удалось применить к полному (экстенсивно) объему истории, прибегнув к закону развития, заимствованному из наблюдений над органической жизнью и гипотетически примененному к истории. *Развитие* в природе Леонтьев изображает как «постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности», постепенную индивидуализацию, осложнение, «увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства». Вершиной первой стадии является период цветущей сложности. А затем всякий организм вновь упрощается, приближаясь к смерти. «Все постепенно понижается, мешается, сливается, а потом уже распадается и гибнет, переходя в нечто общее, не собой уже и не для себя существующее». «Все вначале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением». «Тому же закону подчинены и государственные организмы, и целые культуры мира. И у них очень ясны эти три периода: 1) первичной простоты, 2) цветущей сложности, 3) вторичного смешительного упрощения». Европа пережила первые две стадии и теперь смешительно упрощается. Возрождение, эпоха ее «сложного цветения», — позади. «Большее однообразие областей, смешение сословий, подвижность и шаткость властей, принижение религии, сходство воспитания и т. п.» — все это черты того либерально-эгалитарного процесса, который следует признать «предсмертной болезнью», «исполинской толчеей, всех и все толкущей в одной ступе псевдогуманной пошлости и прозы».

Эта с бесспорной отчетливостью сформулированная теория может встретить два отношения к себе: ее можно оценивать спе-

циально, но абсолютно, как теорию социологическую. Тогда следовало бы оценить и все привлеченные Леонтьевым факты, привлечь, может быть, и иные исторические формы культуры, оставшиеся вне его зрения. Тогда на первом плане стоял бы вопрос о социологическом методе и о праве Леонтьева гипотетически прилагать к социологии законы органической жизни. Эта специальная оценка дала бы для исторической методологии важный ответ, но не дала бы никакого материала для суждения о связи этой теории с судьбою всей метафизики Леонтьева, вопрос о которой составляет главную для нас тему. Другая оценка условно принимает правильность этой теории и ставит свою задачу в том, чтобы проследить, к каким следствиям должна была она повести Леонтьева и к каким действительно повела. Для условного принятия теории Леонтьева оснований вполне достаточно. Исчерпал ли он интенсивно культуру Европы или нет, все равно замеченный им уклон Европы к однотонной, механической и отвлеченной культуре — явление бесспорное.

Итак, Леонтьев точно формулировал постулат цветущей сложности, который был для него не теоретически безразличным выводом, но всегда ближайшей целью истории, осуществлению которой нужно всячески помогать. Из этого постулата, как это ни странно, и создалась практическая программа Леонтьева, ряд каких-то болезненно-недостовверных следствий, оторвавшихся от всяких действительных наблюдений, какая-то хаотическая смесь разочарованности и слепого доверия, точных логических построек и боязливо-беспомощных практических мероприятий, остроумной полемики, отчаяния, подлинного трагизма и подлинного пафоса со все нарастающим культом пустоты. В виде примера практически бессильной программы, как будто продолжающей ту же логическую нить, но перешедшей на русской почве к полемике, можно указать на статью «Грамотность и народность», характерную статью второго тома «Восток, Россия и славянство».

Она толковалась часто поверхностными читателями как программа реакционного дворянства. Для этого нужно заметить лишь ее вывод: «Усердствовать с просвещением народа по-европейски вовсе нет нужды» — и совсем пройти мимо той боли, с которой Леонтьев чувствует антиномию «сложного живого» и все обезличивающихся, становящихся все более отвлеченными форм жизни. Выводов статья, в сущности, никаких и не дает, она только задает вопрос, какие цели ставит появляющаяся в России культура, какими теоретическими идеями одушевлена русская интеллигенция. *Onus probandi*¹⁵ лежит не на Леонтьеве, а, конечно, на тех, кто готов был прославлять Запад за его «меха-

нические открытия и распространение в нем мелкого знания (в ущерб высшему творчеству духа)». Статья Леонтьева на тему о грамотности, т. е. путях культуры, обращена вся на вопрос о ее сущности. И сама грамотность ему представляется лишь шагом к отвлеченности, к угашению непосредственных сил. «Да! В России еще много безграмотных людей; в России много еще того, что зовут “варварством”. И это наше счастье, а не горе. Не ужасайтесь, прошу вас; я хочу сказать только, что наш безграмотный народ более, чем мы, хранитель народной физиономии, без которой не может создаться своеобразная цивилизация». Чем на такой тезис могла бы ответить русская интеллигенция, если, действительно, признак культуры есть своеобразие? Почему не поверить Леонтьеву, когда он говорит: «Будь наше высшее общество своеобразнее нашего народа, надо было бы предпочесть его дух, его образцы, его обычаи, его идеалы, а не простонародные». Но какие своеобразные идеи могла показать ему интеллигенция, у которой самый критерий своеобразия не возникал? «Увлечение геометрическими вкусами новой Европы?» «Образованных людей?» «Ах, эти нынешние образованные люди! Да ведь это более чем высшая степень пошлости! Худые, болезненные, раздраженные; впалая грудь, длинные костлявые пальцы, борода на впалой груди с ранних лет у них почему-то всегда почти огромная... Что толку писать поэзию какую-то, когда в жизни-то моей вокруг нет никакой поэзии».

Искание эстетически приемлемых внешних форм жизни ставляло Леонтьева стать в открытую вражду к русской интеллигенции. Еще сильнее обостряло эту вражду то «царство блага и всеобщей правды на земле», которое с полной откровенностью считали конечной целью противники Леонтьева. В борьбе против этого идеала «отвратительного счастья» Леонтьев, несомненно, поднимался до истинного пафоса, обнаруживая только строгость реализма. Нужно было хоть что-нибудь действительно пережить, чтобы понять всю логическую недопустимость «миража благоденствия земного».

«Новая культура будет очень тяжела для многих, и замесят ее люди столь близкого уже XX века никак не на сахаре и розовой воде равномерной свободы и гуманности, а на чем-то ином, даже страшном для непривычных» — в этом ожидании или даже постулате Леонтьева есть просто логическая честность. На разнокачественные части распадается вся эта полемика о русской культуре. Но для судьбы Леонтьева она, конечно, давала лишь новую убыль. Ход западной жизни, которому вполне сознательно и непреклонно подчинялась Россия, все яснее говорил о несуществимости эстетических требований.

Впрочем, оставался еще народ. Не найдется ли у него самодовлеющей, героической жизнестойкости? Такое толстовство, по видимому, неизбежно ждет всякого мыслителя, кто захотел бы разрешить проблему культуры на русской почве. Только «толстовство» Леонтьева, базируясь на столь же достоверных жизненных ощущениях, что у самого Толстого, находило теоретическое обоснование более объективное, не нуждаясь в тех моралистических законах, которые Толстой предвносил от себя и своими же жизненными наблюдениями опровергал. Принцип своеобразия и жизненной силы, примененный к народу, давал некоторые положительные ответы. В народе Леонтьев услышал «речь безграмотных героев», строящих свое жизненное действие по своему задуманному плану, по иррациональной интуиции, с явной силой, следовательно аморально. Этого и требовал от жизни Леонтьев. «Я уже с ранней молодости привык требовать от людей больше личной характерности, изящества, выразительности и силы, чем нравственной безупречности или какой-нибудь невозможной на земле неизменности добрых качеств».

Такую силу Леонтьев находит в нескольких случаях «трогательного и драгоценного суеверия», которые так строго судил рационализм *. Леонтьев рассказывает об одном раскольнике, заковавшем родного сына своего в жертву Богу. Тому согласию, к которому он принадлежал, свойственно учение о безнадежности, и на смерть сына он смотрел как на спасение его от гибели вечной. Он заколол сына, моля Бога милостиво принять жертву, и сам сознался в убийстве, сказав просто и уверенно: «Я сделал праздник святым». Заключение в острог, он уморил себя голодом. Такого же типа и другой рассказ о казаке, отрывшем из могилы руку той женщины, которую он любил, и верившем, что эта отсеченная от покойницы рука спасла его от безвыходной тоски.

Леонтьев, конечно, прав, вспомнив эти два рассказа и не спеша исцелять народ от подобных суеверий. Какая должна быть самоуверенность, чтобы судить раскольника, двойной жертвой осуществившего свои верования! Но таких случаев Леонтьев мог вспомнить немного. Другие рассказы его взяты преимущественно с Востока, рассказы о безграмотных героях, в чертах которых соединены хищничество и рыцарство, простота чувств и энергия, — словом, те черты, которые Леонтьев описывал еще в сво-

* Любопытно, что такого свободного ума писатель, каким был кн. С. Н. Трубецкой, и то, кроме презренного суеверия, не нашел ничего в этих случаях, рассказанных Леонтьевым.

их восточных повестях. И вновь Леонтьев прав, огорчаясь тем, как быстро они меняют фески на котелки. Но и самому Леонтьеву пришлось сознаться, как мало покрывают его теорию эти частные примеры. Сказал же он: «Вера этих героев — не моя вера, не вера моего бурного и усталого сердца», нашел же в их песнях (а должен был бы найти и во всем строе их жизни) только «какое-то здоровье, спокойствие, веселость, что-то сердечно-поверхностное».

Еще раз оставалось ему признать, что вся живописная прелесть Востока, все находимое иногда своеобразии народной жизни далеки от «тонкого благоухания возвышенных чувств». Но куда же было еще идти и какой жизни искать? Одна становится все отвлеченнее, бездейственнее, однообразнее, другая вышла ли из первоначальной простоты? Чем меньше жизнь готова была подчиняться его идеям, тем жестче хотел он казнить ее, пренебрегать ею или уноситься в отвлеченно-стройные схемы, для которых находил наименее подходящие жизненные примеры. Требование героических форм жгло его все более неумолимо. «Не ужасно ли и не обидно ли было бы думать, что Моисей всходил на Синай, что эллины строили свои изящные акрополи, римляне вели Пунические войны, что гениальный красавец Александр в пернатом каком-нибудь шлеме переходил Граник, что апостолы проповедовали, мученики страдали, поэты пели, живописцы писали и рыцари блистали на турнирах для того только, чтобы французский, немецкий или русский буржуа в безобразной и комической своей одежде благодушествовал бы “индивидуально” и “коллективно” на развалинах всего этого прошлого величия?»¹⁶

Более страстно едва ли можно выразить боль о жизни, которая *должна быть* прекрасна и богата. Но все-таки для каких времен могли бы быть критерием легендарные Моисей и Александр? Не лучше ли лелеять легенду, остерегаясь смотреть на их действительный жизненный облик? Вот мысли, с которыми ни за что не согласился бы Леонтьев в своем чистом доверии к жизни, в своем желании беречь каждую крупницу действительного драматического романтизма. В прошлом такие крупницы стали виднее. А для Леонтьева они сливались в самостоятельной ценности узор. Разве не была — спрашивал он — гармонией разнообразия николаевская эпоха? Разве не разнообразны, действительно, ее характеры? «Николай I, Филарет, Серафим Саровский, гр. Воронцова-Дашкова и ее любовники, кн. Барятинский, Лермонтов (не как сочинитель, а как сам гусар и сам Печорин), игуменья Тучкова, крепкая баба, которая сама па-

шет, мужики вроде Каратаева, Бирюка и т. д. В Европе все это ведь более и более сливается в среднего человека».

К этому впечатлению присоединяется голос логической страсти, которая требует теоретического объяснения. «Жизнь прекраснее, когда есть резкое разделение сословий и положений», — такова теория. Практический вывод из нее — охранение сословности.

Случайно есть возможность проследить возникновение и остальных элементов византизма Леонтьева. Его монархическая программа может показаться притязательной, между тем она зиждется на одиноком наблюдении. Леонтьев сам вспоминает, как после 10 лет на Востоке он вернулся в Россию. «Во многом мне на родине пришлось разочароваться; я воображал, что “свобода” даст нам больше того *своеобразия*, о котором я мечтал. Но — увы! — я слишком скоро убедился, что... государственное начало в России оказалось самобытнее свободно-общественного». Вот тот душевный импульс, к которому также присоединилось требование совершенных, отчетливых форм.

Когда Леонтьев созидал свои законы развития, он определял период цветения как «высшую степень сложности, объединенной неким внутренним деспотическим единством». Но можно ли было думать, что эта мысль станет для него оправданием политического деспотизма? Что аллегорическое понятие с такою легкостью заменится буквальным толкованием, и за объективно-достоверную форму будет им приниматься такой внешний и несущественный признак, как форма государственной власти? Временный, не самодовлеющий по своей условной силе, относительный и томительно-однообразный государственный строй стал для Леонтьева осуществлением абсолютной, чистой формы! Теория, постулатом которой была цветущая сложность, завершилась *культурой пустоты!*

Из своего определения «культура есть своеобразие» Леонтьев в практической программе сумел сделать только одно применение: «пора учиться делать реакцию». Ради чего? Ради сохранения самой власти, не своеобразной и не создававшей никакой культуры, которой никакая внешняя власть создать и не может. Леонтьев еще определяет культуру как систему отвлеченных идей, охватывающих все стороны творчества. Какие же своеобразные идеи в какой бы то ни было области творчества созидал николаевский режим? Или факт одновременного существования логично считать причинной связью? Более ли эти рассуждения Леонтьева достоверны, чем излюбленная у его противников мысль о том, что николаевский режим был причиной трагедии Гоголя?

Не более плодотворны его поиски национального эстетического своеобразия. На полях русской культуры Леонтьев, нашел, в сущности, только один неповторимо-своеобразный эстетический объект: «цветную рубашку навыпуск». Прекрасный итог: рубашка навыпуск, охраняемая русской государственностью!

О вполне беспомощных практических выводах Леонтьева можно говорить спокойно, они не колеблют нисколько ни основных принципов его эстетизма, ни даже, может быть, его теории исторического развития. Его идеи допускали бы и совсем иные выводы — последовательно проведенный анархизм, хотя бы, был гораздо более близким к его теории следствием. Но тот кризис, который с такой наглядностью завершил его самоуничтожившийся практический романтизм, не может не волновать. Для него было много причин и в рационалистическом культе государственности, от обаяния которого Леонтьев освободиться не мог, и в то же время в рационалистической бедности западных идеалов, от которых как можно противоположнее хотел быть Леонтьев, в доверии Леонтьева к применимости абстрактных форм и в его слепом увлечении осязательной драматичностью и красочностью. Но этого еще мало. Логический кризис системы Леонтьева волнует более глубокими следствиями. Не в том ли назначение всей его проповеди, чтобы открыть с полной достоверностью в истории неразрешимые антиномии — культурную и метафизическую? Культура, расширяясь, в то же время намечает свой путь к поверхностному однообразию. Человеческое сознание, оторвавшись от непосредственного, красочного, деятельного, бездумного существования, все глубже ощущает тоску о потерянном рае.

Быть может, когда-нибудь будут найдены те внешние формы жизни, которые осуществляют эстетические требования силы и разнообразия. Но еще скорее может быть, что даже бывшие осуществления, доступные первоначальной простоте, будут утеряться все больше и больше. Тем настойчивее будут возникать эти требования. Своей практикой Леонтьев не опроверг их долженствования. Как будто, показав их неосуществимость, он на самом деле лишь проявил ту силу, которая заставляет их во что бы то ни стало предъявлять. И вовсе, конечно, не даром.

Только он не хотел видеть, что славянство и византизм здесь решительно не при чем. Россия, Турция, Китай станут европейскими странами. И сам Леонтьев знал, что «можно любить прошлое, но нельзя верить в его даже приблизительное возрождение». И можно ли связывать временный национальный вопрос с эстетизмом, стоящим выше отдельной эпохи и отдельной нации?

Вероятно, и свою теорию Леонтьев причислял к славянско-византийскому стилю. Но где же его славянские единомышленники и предшественники? Какое-то явное недоразумение могло бы связывать Леонтьева со славянофилами, которым он противоположен и своим темпераментом и аморализмом, даже культом государственности, с которыми он не мог столкнуться ни в одном частном пункте балканского вопроса, если уже не говорить об основах учения Леонтьева. Но едва ли был бы доволен Леонтьев, если бы заметил, что на западной почве его голос перестает быть одиноким. Между тем судьба его эстетического учения намечает тот кризис, который там многие видят с не меньшей зоркостью, чем видел Леонтьев, с не меньшей и тоской. Дело не в эстетизме Уайльда, которого нелишне все же было вспомнить. Еще гораздо большую серьезность можно услышать в предсказании Фридриха Ницше: «Пустыня ширится»¹⁷ — и в мыслях Бодлера *, увидавшего «le desert de l'histoire»¹⁸.

На поверхности учения Леонтьева — надежды на «назревающую славяно-русскую культуру, которая одна только в силах обновить историю», на «славяно-византийский стиль», который своими принудительными формами (самодержавие, церковь, сословность, принудительная крестьянская община), по крайней мере, «подморозит» Россию от дальнейшего гниения. Но точно эти надежды созданы не рассудком, а иной разрушительной страстью, избравшей объекты наименее прочные, чтобы их единственностью еще резче подчеркнуть ту же «великую пустыню истории». *Сознание пустыни* и трансцендентного непоправимого одиночества слышно во всем, что ни писал бы Леонтьев.

Это чувство более понятно в странах, как бы утомленных и переполненных культурой. Трагический эстетизм Леонтьева! Как он странен и неожидан в России, где именно эстетическая оценка найдет так мало культурно-стойких объектов, где, с другой стороны, столько поводов *забыть какие бы то ни было теории в практической работе*, где, наконец, еще целительна сила деревни. Однако прошло только 20 лет после смерти Леонтьева, и целое умственное течение, блеснувшее несравненной силы лирикой, выросло из того же сознания неосуществимых требований. Преждевременно, может быть, и все это течение. Часто хочется забыть о существовании и декаденства, и Леонтьева, его тайного

* *Baudelaire Ch. Edg. Poe, sa vie et ses oeuvres.*

предшественника, ибо — нужно же признаться — и декадентство и Леонтьев слишком сильны! И все-таки какое дело логике до времени: теперь проблема возникла преждевременно, но она возникнет и вновь, в свое уже время, когда легче будет констатировать, что вот и нами уже пройден тот же путь.

Часто думают, что наблюдения свои Леонтьев подогнал к своей реакционной программе, которая была его единственной целью. Думаящие так правы несколько не менее, чем те, кто философию считает психозом. Но если расширить круг наблюдений Леонтьева над ходом истории, его теоретические выводы оправдать будет много легче, чем противоположные. Неопровержим пример Италии, обойденный Леонтьевым, — страны единственной, кажется, где было действительное Возрождение и где так ясно видно нашествие безличного, механического европейского стиля. Об этом стиле и не может быть двух мнений: равно беспредметная работа на фабрике и служба; передвижение, становящееся настолько быстрым, что угрожает уничтожить само себя, при надвигающемся на все страны одинаковом стиле платья, архитектуры общедоступно-безобразной и мировоззрения общепринято-плоского; самодовлеюще-ценные теории, доступные лишь специалистам; жестокость жизни увеличивающаяся, но более искусно скрываемая моралью, — что могло бы уменьшить горечь впечатлений Леонтьева и выводов его честного эстетизма?

Здесь возникает тема вдвойне трудная, потому что программа самого Леонтьева оказалась призрачным утешением и еще более потому, что *для себя лично* он нашел выход из осознанной антиномии. Но монашество, давшее выход для самого Леонтьева, не пресекло ли оно его мыслей искусственно? Оно их обрывало, переводя в иную плоскость. Таким образом, в этой попытке разрешить антиномию чувств, становящихся все острее и требовательнее, и все оскудевающих даров жизни жизненный пример Леонтьева нас покидает. А между тем учение Леонтьева только усилило эту антиномию, обогатив ее новым примером. Тема становится окончательно нетвердой. Но было бы несправедливо сказать, что Леонтьевым она только осложнена. Быть может, еще она очищена его жертвою. Во всяком случае, блуждание по темным извилинам борьбы его идей носит в себе и отрадное, целительное чувство, которое нас покидает при подходе к религиозному примирению Леонтьева, но которое так сильно, когда находишься под властью только его пессимистического иррационализма, что невольно в самом пессимизме его ищешь иной нити, невысказанной им, оборвавшейся потом.

Это чувство заставляет во что бы то ни стало догадываться о скрытом смысле его метафизики, хотя подобные догадки не могут быть достаточно твердыми.

Леонтьев утешал себя надеждами на обновление истории, но не мог не признать историю «роковой игрою механических сил», недоступной «разуму, который знает, до чего он слаб и до чего он подвержен роковым и неисправимым самообольщениям». Этими словами рассказана и история леонтьевских заблуждений, которые завершаются отказом разума от своих прав на улучшение жизни. Исправить ничего невозможно. Остается признать оправданным «весь естественный и никогда, разумеется, не исправимый трагизм нашей земной жизни».

Слабость разума заставляет искать того жизненного инстинкта, который вернул бы достоверность чувствам, нашел бы для них реальное осуществление. Многие готовы были поверить в правду инстинкта (Толстой, В. В. Розанов, Бергсон хотя бы). К благословенно-простой жизни не раз прорывался и Леонтьев. Однако она не могла остаться для его жизни последним, разрешающим от мук этапом, тайные ощущения оказались вовсе не простыми и не веселыми. И в учении его должна была исчезнуть эта доверчивость к непосредственным чувствам. Его учение часто подходит к тому чувству, которое он удачно называл «хорошею любовью к жизни», из которого вытекали все его восточные, народные, бытовые привязанности. Но нет возврата к периоду первоначальной простоты. Теория, отвергшая этот период, не могла бы ужиться и с «хорошей любовью». Если разуму ход истории представлялся эгалитарным оскудением, то и чувствам открывалось, что «гений жизни с грустью собирает угасить свой факел». И в самом себе, и в жизни Леонтьев видел, как уменьшается ценность и достоверность непосредственного чувства.

С одной стороны, внешние дары скудеют, внешние связи ослабевают, найти себя нечаянно и подчиниться пути быта, инстинкта становится невозможным. Но и разум, с другой стороны, не может довести до цельной и правдивой жизни. В этом моменте, отчетливо увиденном Леонтьевым, нет случайной слабости. Ум, не затуманивший себя ходом механической работы, с неизбежностью должен увидеть открывающиеся пропасти и принять их. Но что значит принять? Значит ли это счесть антиномии неразрешимыми, а самому существовать, как если бы их не было, потерявшим достоверность инстинктивным импульсом или грозящими стать призраком выводами разума? Если не что другое, так пример жизненной правдивости Леонтьева от такой двойственности предостерегал бы достаточно настойчиво.

А между тем он не только принял «непоправимый трагизм нашей жизни», но и ждал постоянно, что будущее явится еще более «темным и страшным». Готов был выискивать предсказания новых бед, новых противоречий, которые в ходе истории и в личной судьбе каждого человека *должны* возрасти и усиливаться. Трагичность становится не проклятой неизбежностью, а желанным законом существования. Не какие-нибудь случайные источники, но — думал Леонтьев — безусловно достоверные «Евангелие и апостолы говорят, что *чем дальше, тем будет хуже*». «Все положительные религии были учениями пессимизма, узаконившими страдания».

Для нас неважно сейчас, действительно ли узаконяет страдания та положительная религия, на которую ссылался Леонтьев. Он искал такой религии, которая была бы оправданием пессимизма. Религия — носительница высших санкций — должна узаконить и высший тон пессимистического мировоззрения. Только такие формальные требования, предъявляемые Леонтьевым к религии, имеют для нас значение сейчас.

Что же заставляет считать трагичность постулатом? В тех же формальных, а не личных только размышлениях Леонтьева о религии можно найти ответ. «Божественная истина Откровения не могла (и не *претендовала*, заметим, *никогда*) уничтожить зло и безнравственность на этой земле, а только обещала этот рай под *новым, иным небом*». В этих словах дано полное объяснение исцеляющей силы трагедии. Новое, иное небо есть постоянно присутствующий в трагедии символ, делающий ее желанной.

Выражение этой мысли можно найти и у самого Леонтьева в ранней статье об искусстве, которая всего отчетливее намечает оставшуюся не завершенной им линию чистого романтизма. Мысли об искусстве, вполне естественно, должны дать выводы, по аналогии применимые и к метафизике, — искусство, конечно, ближе всего подходит к трансцендентным порядкам. В этой статье Леонтьевым названа и та душевная сила, которая радостно принимает крушение разума и инстинкта и его следствие — пессимизм. Обаяние искусства Леонтьев объяснял тем, «что мы любим непрочность и перерождение всех вещей и никакой односторонний идеал не насытит наше разбегающееся воображение», и смысл наших эстетических впечатлений видел в том, что искусство есть переход «за ту черту, за которой живет красота или идея жизни, для которой мир явлений служит только смутным символом». Леонтьев не развил эти очень важные определения, с поспешностью приняв, что искусство есть лишь отражение интенсивной жизни, и не спросив, не есть ли сама эта интенсив-

ность создание эстетическое. Но и позже, судя жизнь эстетически, Леонтьев как бы признавал, что впечатления эстетические не разнятся от впечатлений жизненных. Оставалось признать, что сила и тех и других создана *благороднейшей человеческой страстью — воображением*.

Логическое продолжение мыслей Леонтьева об искусстве могло бы пояснить романтическую теорию воображения. Эгалитарный процесс, который можно считать условно доказанным для хода истории, вместе с тем дает небывалое в эпохе простоты искусство. Этот факт открывает в процессе, неминуемо обнаруживающем пропасти, иную сторону. Искусство не есть отражение жизненных сил, но творчество им антиномичное. Искусство не нужно, когда жизненные силы сами ведут, оно тогда еще и невозможно. Два состояния нужно признать противоположными друг другу: физиологическое, незаметное веселье и эстетическое впечатление, которое Леонтьев описал так: «*Душа полна, и грусть ее отрадна, потому что она слышит близость бога красоты*». Глубоко ошибаются те, кто хотел бы богато развитое искусство считать показателем богатой эпохи. Если бы мы стали спрашивать себя, кто изображен в живописи итальянского Возрождения или в романах Достоевского, мы были бы только поражены *преображающей силой искусства*, придавшего очарование незаметному, увидавшего чистые идеи в том, что житейскому взгляду покажется поверхностной и веселой простотой. Только тем и важно искусство, что оно непохоже на жизнь, которая проста и незаметна. Леонтьев восхищался героичностью своих безграмотных героев, которые сами не замечали своей героичности, ибо она была для них нечаянным проявлением. Невыносимого счастья не увидали бы они во внезапно проглянувшем, лазурном небе и не поняли бы чудака, который ищет в осени только «*очей очарованья*». Легко удовлетворяемый инстинкт любви показалось бы им ненужным превращать в сложную драму влюбленности. Так эстетическая оценка преобразует жизнь. Так воображение создает впервые жизнь.

Эти возрастающие вместе с обеднением непосредственных жизненных сил *обманы человеческой души* Леонтьев не принял бы в свою теорию. Его романтизм практический исходил из доверия к жизни, появившегося, может быть, в последний раз. Из его гибели вырастает романтизм чистый, который может появиться из сознания неисправимой жизни и неосуществимости требований, который знает, что теория исчезает при своем осуществлении, что жизнь благополучная незаметна, она катится легко и бесследно. Вот почему возрастающая пустыня истории в то же

время усиливает воображение, создает искусство — «потрясающую музыку страстных чувств», создает ту систему оценок, без которых жизнь стала бы незаметным физиологическим процессом. Сознание трагедии есть вместе с тем сознание психичности, одухотворенности. Разрешение трагедии есть возврат к элементарному инстинкту. Желать ее разрешения значит желать вновь спуска вниз и назад.

Перед чистым романтизмом всегда будет возникать вопрос: не потеряет ли всякие живые связи так понятый жизненный процесс, рискуя превратиться в окончательно недостоверный призрак? Подробный анализ достоверности воображения завел бы нас слишком в сторону. Было бы достаточно указать только, что символические связи, заключающиеся в искусстве и в жизни, понятой эстетически, обладают достоверностью такой силы, что «новое иное небо» становится близким. На этом моменте романтизм мог бы остановиться. Сквозь ряды внешне безразличных фактов в трагедии земного существования, принятой исчерпывающе, бывают видны очертания неожиданного, таинственного узора: события своей, а при большей силе и чужой жизни приобретают смысл осуществления Идеи. Фактически в жизненной борьбе такие моменты редки, значение приобретаемой ими гармонии от этого не уменьшается. Таким образом, можно еще раз указать на то, что «в явлениях мировой эстетики есть нечто загадочное, таинственное», как с полной ясностью чувствовал и Леонтьев. Эстетика мистична по своему существу.

Но, может быть, для того чтобы удержаться на этом моменте романтизма и только на мистике, нужны чрезмерные силы. Вот почему невыносимое сознание трансцендентного одиночества заставляет помышлять об утешении какой-нибудь положительной религии. Только искусство, только эстетически принятая жизнь — вечное преддверие, лишь смутно предчувствуемые символы, прерывистое приближение к гармонии могут заставить помышлять о положительной религии. Но не нужно забывать, что положительная религия, придав незыблемую достоверность оценкам, в то же время кладет предел воображению, ограничивая путь чувств определенным циклом. Поэтому как бы близко эстетизм ни подводил к религии, тот момент, когда в жизни не становится виден лишь узор Идеи, но уже слышен голос «живого и личного Бога», конечно, бывает сильнейшим потрясением.

Так можно было бы наметить построение самодовлеющего романтизма, фактически часто обрывающегося примирением с положительной религией, но логически не признающего еще ее неизбежности. Было бы неуместно здесь идти дальше формаль-

но намеченной схемы, потому что сам Леонтьев разрешил увиденную и пережитую им антиномию иначе и гораздо определеннее. Здесь вновь вступают строгие, архитектурные линии. Но на всем протяжении его мыслей бывает слышен потом оборвавшийся голос, неясный, только приближающийся к областям тайным, то возбужденно-патетический, то шуточный.

«Истина совсем не “в правах и свободе”, осмелюсь сказать, а в чем-то другом — весьма печальном, если искать на земле покоя и видимой целесообразности, и весьма сносном и даже приятном в иные минуты, если смотреть на жизнь как на бурное и занимательное, частью тяжелое, частью очень сладкое, но, во всяком случае, скоропреходящее сновидение».

В этих полусерьезных словах, конечно, романтизм, струя которого так неистребимо сильна, что он кажется достоверным среди неверного и нереального на земле.

III

Вопрос о религиозном примирении Леонтьева необходимо выделить в особую проблему. Личное подчинение его православию не было логическим завершением его системы, не было и естественной развязкой его жизни. Кто, как Леонтьев, чувствовал и показал *истинно трансцендентный* характер религии?

Убедительность его религиозности особенно чувствуется на фоне литературы о религии, щедрой в наши дни, для которой так характерно, что больше всего говорят о религиозной морали, элементе наименее религиозном, наиболее повседневном и наиболее доступном для рационалистического обсуждения.

Другая формальная особенность, проявленная Леонтьевым, — это исключительно личный ее характер. Религия не есть сообщаемое другому рассуждение, не есть система логических или моральных понятий. Религия есть отмена и морали и логики, доступная только личному переживанию.

Необходимо вновь вернуться к личной судьбе Леонтьева, передавая лишь ту достоверность, которая присуща самим его переживаниям.

Перед Леонтьевым очень рано появилась возможность религиозного примирения. Но это предчувствие всегда было связано с надеждой, почти с мольбой: о, если бы было не так. Конечно, отчаянием звучало окончание «Подлипок»: «Бедная моя Греция, где ты?.. О Боже мой! не лучше ли стать схимником... свободным, прозрачным, как свежий осенний день?» Потом отчая-

ние прошло, судьба стала щедрой или, лучше сказать, сделала вид, что она окончательно щедра. Греция показала себя осуществимой и в жизни и в учении. Неожиданная и как будто ненужная катастрофа пресекла ее осуществление клятвой о монашестве.

Однако эта катастрофа долгое время будет слабо отражаться в учении. Православие упоминается Леонтьевым нередко и в ранних его статьях, но упоминается как-то тускло. Когда приходится говорить о практической программе, то, конечно, православие принимается как один из элементов бытового разнообразия. Монастыри, духовенство, стиль церковных книг — одно из красочных пятен в быту, и не более того. Может быть, помня страшный голос, прозвучавший для него лично, Леонтьев не хочет бороться и в земной плоскости своего учения с христианством, хотя сознает хорошо, что христианство и не нужно и даже опасно для его системы. Не только моралью своей, порождаемой тем же эгалитарным оскудением, но еще гораздо больше — той неизбежной покорностью перед Абсолютом, которая делает безразличным и ненужным чередование пестрых, неверных, но милых событий еще не примиренной жизни.

Один только раз Леонтьев высказал с полной откровенностью эти мысли об опасности христианства, и — что особенно важно — высказал в письмах 1891 г., буквально за несколько дней до пострига. Значение этих писем к В. В. Розанову * следует подчеркнуть. Они с единственной отчетливостью показывают, как почти до конца боролись две антиномичные линии в учении и жизни Леонтьева.

Вновь повторяя кратко свои положения эстетизма, говоря об эстетике как мериле для всего и о приложимости мерила положительной религии *только к самому себе*, Леонтьев прибавляет несколько афоризмов, которые сам называет «безумными».

«1. Если все видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. ее эстетика) суть признаки внутренней жизнеспособности человечества, то уменьшение их должно быть признаком устарения человечества и его близкой смерти (на земле).

2. Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству *по основам*, сильно вторит ему в этом *по внешности*, отчасти и подделываясь под него).

3. Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить *эстетику жизни на земле, т. е. саму жизнь*.

* Русский вестник. 1903. № 4–6.

4. И Церковь говорит: “Конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде”.

5. Что же делать? Христианству мы должны помогать даже и в ущерб любимой нами эстетике из трансцендентного эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике».

Трансцендентный момент религии в этих афоризмах ясен. Кризис 1871 г. определил путь, но из этого не следует, что подчиниться всецело новым нормам жизни будет легко. А уж если подчиниться им, то до конца. Нельзя принять религию и самому жить по-прежнему. Нельзя религией только дополнить прежнюю жизнь. Поэтому 20 последних лет жизни Леонтьева, как будто однообразных, полны борьбы, крайне напряженной. Она ни разу не вспыхивает до яркости кризиса, скорее тлеет под пеплом, медленно, но верно угасая, только на мгновения загораясь тоскою. Этот последний период его жизни так безупречно правдив. За много лет вперед человек увидел свое последнее убежище, и ему остается — ждать, когда исполнятся времена и сроки, вновь уходя от наметившегося пути и вновь возвращаясь уже с большею покорностью и истомленностью.

Еще в 1873 г. с острова Халки Леонтьев писал архимандриту Ново-Иерусалимского монастыря Леониду о своем желании жить при монастыре в России: «Верьте, что решение это — плод почти трехлетних дум и испытаний... мне нужно духовное подчинение». Архимандрит отвечал, что несовместимо — проходить искусы монашеской жизни и заниматься литературой. Отказаться от литературы Леонтьев пока еще не мог. Он все-таки приезжает в Россию, знакомится с очень популярным старцем Оптиной Пустыни Амвросием, делая попытку отдать ему свою волю. Старец Амвросий проходит мимо него. Леонтьеву приходится ограничиться беседами с его духовным сыном Климентом Зедергольмом, протестантом, перешедшим в православие, но сохранившим в себе всю ту черствость протестантизма, которая, соединясь с ревностью к православию, сделала его влияние на Леонтьева особенно жестоким. Эта попытка войти в монастырь закончилась послушничеством в Николо-Угрешской обители, где, однако, Леонтьев оста<ва>лся только полгода, вновь вернувшись в мир. Можно думать, что со своей борьбой против последней покорности он еще не мог справиться. Недаром с такой остротой вспоминается Константинополь: «Я ежедневно терзаюсь мыслью о том, что не могу придумать средства переселиться туда навсегда»; «с отчаянием я вижу, что Богу не угодно, видно, удостоить меня возвратиться туда» (Письма К. А. Губастову).

По внешнему ходу жизни Леонтьев не скоро еще войдет в монастырь. Он будет годами жить в своем Кудинове, занимаясь литературой, переедет на несколько месяцев в Варшаву, где станет помощником редактора официального «Варшавского дневника», шесть лет прослужит цензором в Москве и только с 1887 г. поселится окончательно в Оптиной Пустыни. Но и Кудиново лежало близко от Оптиной, и уже в 1878 г. о. Амвросий удостоил Леонтьева долгой беседой, после которой тот не выйдет из его подчинения.

За эти годы Леонтьев написал все свои публицистические статьи, другими словами, тогда только и высказал систематически свои взгляды. Но если следить за ходом его чувств, всегда будет оставаться впечатление, что он пишет о прошлом, уже сложившемся. Среди той покорной усталости, которая одна остается верной, так непонятно его учение. Оно воплотило цельно свой строй идей. И жизнь Леонтьева, о которой он всего охотнее рассказывал в письмах к своему восточному другу К. А. Губастову, цельна также. Но между ними нет ничего общего.

В учении была своя борьба. Логическая страсть к четкому узору непонятно соединялась с ощущением таинственного, живого единства. Нужно было ждать, как разрешится этот поединок. Но странное зрелище, когда логические силы местом своего поединка избрали живого человека и, не считаясь нисколько с его болью, истожили и себя в борьбе, погаснув внезапно, чтобы дать место третьему пришельцу, прихода которого ничто не предвещало и который тем не менее явился властно во всем своем случайном облачении, показавшемся истомленной душе таким же общеобязательным и несомненным, как сам его приход.

Так можно было бы вспомнить схему логической борьбы. Она сильна и увлекательна. Но иногда она вся целиком может показаться прозрачной надстройкой над тусклой жизнью последних годов Леонтьева, которые так правдивы в своей жестокой, но житейской простоте.

Особенно искренни и ясны письма из Кудинова. Запертый в своем милом Кудинове, одинокий и никому не нужный, Леонтьев вспоминает иногда о прошедшей блестящей борьбе, но больше о своем одиночестве и о медленном ходе дней.

«Кажется, что для меня все живое кончено... Все вокруг меня тает... Впрочем, не думайте, что я тоскую или рвусь; я как-то тихо и благодушно скучаю — больше ничего. Ждать больше нечего; оплакивать нечего, ибо все уже оплакано давно» (1876 г.).

Как бы внести проценты за Кудиново — единственная забота его дня, который он описывает подробно, час за часом. Утро.

Мысли о денежных делах. «Семь тысяч моего турецкого долгу, жена больна... 8 рублей всего убого лежат в моей шкатулке». «Половина второго. Свободен. Запираюсь и молюсь минут 20 или полчаса. Благодарю искренно Бога за многое, почти за все, особенно за то великое мужество, которое Он во мне, при таких запутанных обстоятельствах, поддерживает... Вы не поверите, как это отрадно, когда вспомнишь свое отчаяние 70–71 годов... Повар заходит спросить: где постное масло, которое покупали... Я не знаю... Варька!.. Варька тоже не знает... никто не покупал... 6 1/2 часов. Варька затапливает камин и садится разливать мне чай. Я беседую с ней о деревенских делах и отчасти о войне...

Я теперь стал более *в сердце монах*, чем даже тогда, когда носил подрясник на Угреше!.. Не знаю, не рано ли вам это понять душою и сердцем, милый мой.

Поймете ли вы, что я рад, что *все*, все мои привязанности остыли...

О чем вам сказать еще?.. Богатство мыслей у меня все то же; но я уже вовсе не мечтаю и *приятных* планов не делаю... а живу, как птица небесная, день за днем... И благодарю, благодарю за это Бога»...

Или еще письмо — другой кудиновский вечер: «Мимоходом приходят в голову мысли — политические, литературные, социальные — одна другой свежее, но я так привык к тому, что *не мне* суждено их сообщить людям, что они, как падающие звезды, только мелькают, а я их и не поддерживаю... И лишь бы этот зеленый уголок мой был цел, хоть бы не брали у меня эти липовые аллеи, эти березовые рощи, эти столетние огромные вязы над прудом».

Это малое желание не исполнится. Кудиново будет продано, как бы для того чтобы завершить цельность биографии мыслителя. Правда, биография фактически не остановится на однообразии таких вечеров, но ни деятельное участие в окраинной официальной газете, ни обеспечивающая служба, ни литературная работа вообще не могли ничего прибавить к благодарности лишь за то, что дни идут. Вероятно, их горечь только увеличивало сознание, как безнадежны политические утешения и как несвоевременны и эстетические идеи. Литературное одиночество Леонова бесприммерно. Быть может, и оно ускоряло примирение, которое подходило все настойчивее. В жизни не поддерживало ничто, а религия обещала утешение.

Но Леонов сознал с полной ясностью, в каком случае религия внесет перемены и действительно даст утешение. От мучений создалась та гордость, которая не позволяла просить у

врага уступок. Религию нужно было принять во всей ее трансцендентной жестокости. Поэтому Леонтьева и оскорбляли так всякие построения примирительной религии. Когда он говорит о религиозных рассуждениях Толстого и Достоевского, в его голосе звучит тот тон, который можно услышать у рабочего, отвечающего бездельнику-барину. Их «ересь», их «сентиментальное, розовое» христианство для него, знавшего, каких мучений требует религиозный искус, были лично оскорбительны. Он не хотел бы вовсе писать о религии, но от полемики с «новым христианством», очень резкой, логически острой, он удержаться не мог. Речь Достоевского о Пушкине и рассказ Толстого «Чем люди живы» дали ему случай отмежеваться от тех религиозных построений, которые станут так популярны вскоре после смерти Леонтьева. Статьи, написанные Леонтьевым по этим поводам, были объединены им в отдельную брошюру «Наши новые христиане», которая определяет подход к религии и самого Леонтьева. Над Толстым и Достоевским он одержал бесспорную логическую победу. И, конечно, эта логика шла не из его рациональной силы, а из той искренности, с которой он готов был принять надвинувшийся на него кризис, из того чувства, которое можно было бы назвать безупречной преданностью трагедии.

Толстой и Достоевский — думает он — не оказались достаточно сильными для того, чтобы избежать подчинения ненавистному утилитарному прогрессу. Они изнежены и отвлечены. Даже к тем жизненным явлениям, о которых они писали, неприменима их «ежеминутная елейность». Разве мог Достоевский прилагать свое «полухристианское, полуутилитарное, всепримирительное стремление к многообразному и демонически пышному гению Пушкина»? Разве имел он право, говоря о Пушкине, «смешивать так опрометчиво и грубо *объективную любовь поэта*, любовь изящного вкуса, требующего пестроты, разнообразия, антитезы и даже *трагической борьбы*, с любовью *моральной*, с чувством милосердия и со стремлением к поголовной, однообразной кротости»? Также и к конкретному материалу, содержащемуся в рассказе «Чем люди живы», неприменим моральный вывод Толстого. «Ангел наказан Богом за непокорность» — вот основа сюжета, которую Толстой невольно показал, но сам заметить не захотел. Отходят от его выводов и молодой граф Ростов, и иные герои его «полунечаянного творчества». Достоевский верит в «мирную и кроткую будущность Европы», но забывает, что сам он показал в своих романах. Его надежды прежде всего нереалистичны. «Верно понятый, не обманывающий себя неосновательными надеждами реализм должен рано или поздно от-

казаться от мечты о благоденствии земном». Эта мечта и неосуществима и не нужна. «Разве тихое равнодушие есть счастье? Это не счастье, а какой-то тихий упадок всех чувств, как скорбных, так и радостных». Гармония возможна только одна: «гармония примирения антитез, но не в смысле мирного и братского нравственного согласия, а в смысле поэтического и взаимного восполнения противоположностей и в жизни самой, и в искусстве».

Любовь, смирение, гуманность, предлагаемые Толстым и Достоевским, не реалистичны, насколько же еще больше того они не религиозны! «Это жалкие, растрепанные обрывки христианства». Достоевский строит «новую национальную культуру на одном добром чувстве к людям, без особых, определенных, в одно и то же время вещественных и мистических, так сказать, предметов веры». Толстой предпослал своему рассказу восемь эпиграфов, но все только о любви и все из одного первого послания ап. Иоанна. Но «тот, кто пишет о любви будто бы христианской, не принимая других основ вероучения, есть не христианский писатель, а враг христианства самый обманчивый и самый опасный». Забыта другая сторона религии — и важнейшая: «Начало премудрости есть страх, а любовь — только плод». «Стыдиться страха Божия просто смешно; кто допускает Бога, тот должен его бояться, ибо силы слишком несоизмеримы».

Вот, конечно, важнейший пункт столкновения трех писателей. И правда, конечно, на стороне Леонтьева, ибо те двое говорят о религии как о чем-то второстепенном, выводном из земных чувств, он же — о религии как таковой, подлинно мистической, действительно трансцендентной, следовательно и страшной. Путь к религии дает только полный отказ разума от высокомерного руководства. Только ждать голоса, который может напомнить о неожиданном пути. Ни логически, ни житейски оправдать его будет невозможно, и тем не менее его придется принять. Бог вовсе не милостив. И религия создана не для того, чтобы смягчать жизнь. Мораль Толстого и Достоевского не может принять жизни во всей ее полноте и разнообразии потому, что она не опирается на действительную веру. Их мораль обезличивает и жизнь, и религию. Истинная же религия примет жизнь со всеми ее противоречиями и трагизмом, ибо она до конца по ту сторону жизни и антиномична ей. У Толстого и Достоевского «не договорено малости, не упомянуто о самом существенном — о Церкви». Между тем и Евангелие и Церковь не хотят идиллизовать жизнь. «Услышите о войнах и о военных слухах». «Восстанет народ на народ». «И проповедано будет сие

Евангелие Царствия по всей вселенной... и тогда придет конец». «Увидите мерзость запустения»¹⁹ — вот линия в Евангелии, которую указывает Леонтьев новым христианам. «Пока блаженны миротворцы, ибо неизбежны распри... Блаженны алчущие и жаждающие правды, ибо *правды здесь не будет*. Иначе зачем же алкать и жаждать? Сытый не алчет. Упоенный не жаждет... Так говорит Церковь, совпадая с *реализмом*, с грубым и печальным, но глубоким опытом веков».

Моральное учение Толстого и Достоевского безжизненно. Это «тихое равнодушие», «кроткая, душевная Нирвана». «А горячее, самоотверженное, и нравственное, и привлекательное обуславливается непременно более или менее сильным и нестерпимым *трагизмом жизни*». Такова эстетика Леонтьева, не противоречащая, но, наоборот, всегда открытая потустороннему вмешательству, которое благостью абсолютного примирения осветит жизненную трагичность, изменив ее привычные очертания. Только из страха перед Неведомым возникает вера. «Вера в божественность Распятого при Понтийском Пилате назаретского плотника, Который учил, что на земле все неверно и все неважно, все даже нереально, а действительность и вековечность настанет после гибели земли и всего живущего на ней: вот осязательно-мистическая точка опоры»²⁰.

В этом ходе мыслей Леонтьева, переданном здесь схематично, очень остро в полемике и подымающемся до пафоса истинной веры, заключена та несомненная личная правда переживания, с которой спорить невозможно. Вероятно, возможен совсем иной аспект религии, вероятно, преданность таинственным силам может привести к ясным и радостным впечатлениям. И самому Леонтьеву было труднее жизненно принять религию в том страшном аспекте, в котором она предстала перед его мыслью. Но если его эстетизм был для него и жизненной, личной нормой, то тем менее был он способен только **о б с у ж д а т ь** религиозную проблему.

Та положительная религия — православие, которую вполне случайные причины сделали для него единственной, была очень далека от него. Может быть, даже по строю своих мыслей Леонтьев был ближе к католичеству. Логически можно было бы наметить и совсем иные религиозные формы. Но для Леонтьева и обрядовые, и догматические особенности вероисповедания стали совершенно безразличными. Он ни разу и не пытался даже — при всем своем скепсисе — отнестись с недоверием хотя бы к частности ритуала или догмата, принимаемого Церковью. Страх перед Богом или страх перед церковным учением для него одно

и то же. «А кто преслушает Церковь, тот да будет тебе как язычник и мытарь», — сказал сам Спаситель. Чего же больше? Этим повелением мы обязуемся принимать спокойной, сухой, если хотите, *верой ума*, даже без всяких приятных порывов сердца, *все* учение Церкви». Вот крайнее выражение того фанатизма, без которого невозможна религия. И, в сущности, Леонтьев сказал слабее, чем было на самом деле, ибо церковному его примирению не только противились порывы сердца, но и также силы ума.

Да, Леонтьев, конечно, прав, с ожесточением отвергая религиозные построения Толстого и Достоевского, но кого приходилось принять взамен их? Ограниченного и самодовольного Климента Зедергольма? Описанная самим Леонтьевым дружба его с о. Климентом * обнаруживает всю жестокость примирения. Скромный протестант, несший свой постриг аккуратно, честно и ограниченно, благодаря своему ригоризму получил власть над всею сложностью Леонтьева.

«Я просил его однажды рассказать мне, были ли в его жизни в молодых годах какие-нибудь сильные сердечные потрясения, какие-нибудь романтические перевороты или *нестерпимые бури*, которые заставили его удалиться от мира.

От. Климент улыбнулся своею милою и веселою улыбкою и отвечал мне:

«Таких потрясений, о каких вы, вероятно, думаете, не было. Я шаг за шагом *мыслью* дошел до необходимости стать монахом»».

Об отсутствии потрясений и сам догадается всякий, кто прочтет о том, как о. Климент «жил в хорошеньком домике, очень любил тепло топить у себя и спал на хорошей кровати», смягчал какао строгость поста и любовно рассказывал о монахе Иларионе, испугавшемся трудностей семейной жизни: «А жена — знаю, какие теперь бывают жены. У мирянина — жена, дети, друзья, враги; а монах ничего этого не знает» и т. д. В какой ограниченный круг чувств и мыслей приходилось покорно спускаться Леонтьеву, подчиняясь все более узкому и рассудочному влиянию о. Климента. Конечно, о. Климент упрекал Леонтьева за то, что тот не чувствует «духовного омерзения ко всему, что не православие», говорил, как вредит Леонтьеву «любовь к поэзии, которой много и в неправильных религиях, даже в язычестве», и особенно указывал на то, что молитва «Господи и Владыко

* Русский вестник. 1879. № 11–12. И в отдельном издании брошюра «О. Климент Зедергольм».

жизнот моего» у греков читается иначе, что вместо наших слов «дух праздности, уныния...» там стоят: «дух праздности, *любопытства*». «У греков указывается на источник; у нас предпочли указать на результат. Если мы в праздности нашей увлекаемся ненужным любопытством, например начинаем читать вовсе до нас не касающиеся книги, то это ведет непременно к унынию».

Даже это поучение о Клименте Леонтьев вспоминает почти благоговейно и, во всяком случае, без иронии. И что же делать? О. Климент был прав: тем или иным путем Леонтьеву нужно было освободиться от уныния. А был ли перед ним *иной* путь? — можно спросить вполне искренно.

Оставалось отыскивать хоть какую-нибудь отраду в пути суровом и узком, подчеркивая эстетику монастырской жизни, богослужения, «успокоительного» пейзажа, окружавшего Оптину Пустынь, любоваться на «мирный, разубранный разноцветными и душистыми цветами и со всех сторон огражденный высоким и густым лесом Оптин скит». Но об идиллии и не нужно думать. Идиллии и не хотел Леонтьев, и не цветы влекли его в монастырь. «Христианство в основании своем есть безустанное понуждение о Христе». «Заслуга только в вере, в понуждении, в покаянии, в смирении, если не можешь понудить себя. Вопреки сухости сердца и равнодушию ума *принудительная* молитва эта выше, чем молитва легкая, радостная, умиленная, горячая». Не по своей воле Леонтьев вступил на этот путь, но, вступив, он шел до конца и с полной отреченностью принимал, что «монашество есть цвет христианства».

Последовательность этих трансцендентных переживаний, этого приближения к Богу поразительна. Только и сам Леонтьев не мог скрыть чувства ужаса. В конце тех же воспоминаний он описывает, как ходил к могиле о. Климента. «Дорожка расчищена, но могилы занесены снегом. Вечером на Распяттии горит красная лампадка в фонаре, и откуда бы я ни возвращался в поздний час, я издали вижу этот свет в темноте и знаю, что там около этого пунцового, сияющего пятна... (фраза не кончена Леонтьевым). Иногда оно кажется кротким, но зато иногда нестерпимо страшным во мраке посреди снегов».

Жизнью при монастыре и беседами с о. Климентом далеко еще не завершилось примирение Леонтьева. Его наиболее важным моментом была идея *старчества*. Пока еще оставались лич-

ные помыслы, работа, уводившая от монастыря, тогда еще господствовало некоторое своеволие, решительно неприемлемое для истинной религии и прекращенное подчинением своей воли другому лицу — старцу. Этой идеи в светской литературе никто, в сущности, не касался*. А между тем именно она придает строгость классических форм личной религиозной судьбе Леонтьева и, может быть, религии вообще. Его ожидание утешения от религии и сводилось к надежде на руководство старца.

Уже сейчас же после приезда из Турции Леонтьев поехал в Оптину, чтобы видеть старца Амвросия. Но как бы ни был он готов к послушанию, старец не принял его воли, ограничиваясь краткими беседами. Пять лет пришлось Леонтьеву ждать, когда старец разрешит его жизнь, «сложную, трудную, очень запутанную», все более привыкая к мысли, что полное отсечение своей воли будет единственным спасением.

«Я знаю одну монахиню, — вспоминает Леонтьев**, — жившую около Оптиной, чтобы не расставаться с о. Амвросием. Она не раз говорила мне: “На *свою* совесть полагаться ужасно”. Женщину эту я знал с детства ее... характер у нее и обидчивый донельзя, и гордый, и властолюбивый... Но о. Амвросию она лет 12 тому назад отдала свою волю сразу и навсегда... Ей *так* было *легче*».

И о. Климент «без позволения старца даже и в лесу прогуляться не смел никогда». Его мысли о старчестве элементарны, как и все у него. Но вот что страшно: вся леонтьевская сложность все неизбежнее сжималась до такой элементарности, только и могла быть успокоена этой условно принятой простотой.

Разум наш недостаточен, Иуда был апостол, а разбойник разбойничал, Арий был человек лично прекрасной жизни, но принес больше вреда, чем убийцы, — так рассуждал о. Климент, делая вывод: «Что бы ни ответил старец, я приму покорно». А когда его спрашивали: разве у старца в душе не происходит общечеловеческая борьба? — ему оставалось логически продлить это рассуждение о руководительстве, не личном, не по одаренности, но по авторитету: «И у старца бывает, как у других людей, духовник (иногда несравненно низший его по уму и жизни), но для духовных чад своих старец должен являться невозмутимым».

* Старец Зосима Достоевского должен был бы возмущать Леонтьева. В сопоставлении с тем, что так правдиво Леонтьев о старчестве рассказал, каким он кажется неверным и исторически, и душевно²¹.

** Письмо о старчестве: Русское обозрение. 1894. № 10.

На таком признании могли сойтись и Зедергольм и Леонтьев, при всем их различии по существу: тайны мира иррациональны, никто не ручается за праведность поступков и достоверность чувств, нужно покориться всей случайности повелений другого человека, который *должен казаться невозмутимым* хранителем Божиих решений. Без такого отсечения своей индивидуальности для Леонтьева не было пути, были только «нестерпимые бури», от которых нужно было освободиться: Леонтьев хорошо знал всю случайность радостей, знал, как неосторожно ставить их своей целью, ибо вмешается иная сила и из того, что считал радостью, сделает безвыходные муки. «Все приятное и утешительное не от нас, а от Бога» — так резюмировал Леонтьев свои наблюдения над жизненным счастьем, добровольно принимая теперь «ежеминутное несносное понуждение, которое и есть настоящее монашество, т. е. добровольное хроническое мученичество во славу Божию». И если Бог устроил жизнь так, что нужно «скорбь считать настоящим назначением человека на земле», то остается покориться Богу, в своей жизни умышленно осуществлять Им начертанную программу скорби, в надежде, что «пока религия жива, все еще можно изменить и все спасти, ибо у нее на все есть ответы и на все — утешения». Это даже не надежда, а требование. Утешение должно быть. Если «телесное истязание и нестерпимая в иные дни душевная борьба, уныние и туча» предстали с такой неизбежностью, то, очевидно, они принесут душе успокоение — награду за трудный подвиг. Религия должна освободить от «обманчивого и коварного изящества зла», от «языческих богов, реальное существование которых святоотеческое христианство признает, считая их демонами, постоянно увлекавшими человечество на свой ложный путь». Леонтьев хорошо знал о силе этих демонов и в искусстве («демонический гений Пушкина»), и в жизни. Прав его биограф А. М. Коноплянцев*, говоря, что вся жизнь теперь ему представлялась борьбою сил божественных (религиозных) с силами страстно-эстетическими (демоническими)²².

Религиозная практика открыла перед ним возможность преодоления страстной эстетики. Мораль, догматы религиозные — до них Леонтьеву не было дела. Ему нужна была житейская помощь. Не разрешение демонизма, который оказался неразрешимым в своих антиномиях, а преодоление его, забвение. Сам Леонтьев не казался ли себе чистым воплощением демонизма, и значит, не было ли только одного исхода — отсечения самого

* Памяти К. Н. Леонтьева. Литературный сборник.

себя? Для этого и было предназначено старчество, сущность которого очень точно определяет церковный биограф о. Амвросия: «Что бы ни задумал духовный сын старца, обо всем он идет советоваться со старцем и просить его благословения. У духовных чад старца нет своей воли, нет своего образа мыслей, своих рассуждений. Про всех старец знает все... Таким образом, в общем старец есть лицо, которое производит то живое и деятельное отсечение воли у братии, которое требуется иноческими обетами от каждого монаха»²³.

Только монашество, соединенное с полной покорностью старцу, могло дать действительную победу. Остальное в православии было или догматом, т. е. одной из логических идей, которой Леонтьев мог бы противопоставить свои умственные идеи, или моралью, с которой, как бы ни была она сильна в христианстве, Леонтьев считал бы необходимым бороться, или, наконец, эстетическим элементом, который в православном ритуале Леонтьев очень ценил, но не считал полным ответом на все его эстетические требования. Только *во власти* старца могла проявиться та исцеляющая иррациональность, которая должна показаться объективному взгляду чистой формой трансцендентной *случайности*.

И вот на этот раз ожидания Леонтьева в самом деле обмануты не были. Религия дала ему утешение и руководство. В 1878 г. умер о. Климент, и после пятилетних ожиданий Леонтьев получил сердечный доступ к старцу Амвросию, который и руководил им почти до смерти. С вполне примиренным сердцем Леонтьев вспоминал перед смертью об этом руководительстве и о том, как неожиданно счастливо оно началось. После смерти Климента Леонтьев ожидал в зальце выхода о. Амвросия.

«Я помолился на образ Спаса и сказал про себя: Господи! наставь же старца так, чтобы он был опорой и утешением! Ты знаешь мою борьбу! (Она была иногда ужасна, ибо тогда я еще мог влюбляться, а в меня еще больше!).»

И вот о. Амвросий на этот раз продержал меня долго, успокоил, наставил, и с той минуты все пошло иначе. Я стал с любовью его слушаться, — и он, видимо, очень меня любил и всячески меня утешал.

Просите хорошего старца и дастся вам!»

Этой просьбой и ее исполнением заканчивается жизнь Леонтьева. Как она исполнилась, в чем проявилось руководство, Леонтьев не стал бы и не мог, конечно, рассказывать. Постороннему наблюдателю очень трудно заметить перемену в чувствах его после 1878 г. Конечно, бывали новые вспышки эстетизма и борьбы. Но путь был найден, и путь этот не обманул. Успокое-

ние спускалось на его душу медленно, но верно. Леонтьев становился все более «больной и усталый, но сердцем веселый и покойный». Летом 1891 г. он принял тайный постриг с именем Климента, за несколько месяцев до смерти. Монашество было для него коротким, но настоящим предсмертным счастьем.

В этой развязке есть та правда примирения, которую всегда приносит смерть и которую подготовило монашество — полусмерть. Но есть нечто большее, более исключительное. Покорность старцу переносит нас в не свойственные ни христианству, ни нашему времени идеи. Христианство и религия вообще здесь встают в необычной, но чистейшей форме. В самом деле, принятие старческого руководства есть та же покорность случайности, которая проявлялась в классическом религиозном гадаании.

Я нисколько не хотел бы заподозреть личную пронизательность, личное душевное богатство хотя бы руководителя Леонтьева — старца Амвросия. Ни одного неосторожного слова не хотелось бы сказать ни об о. Амвросии, ни об Оптиной Пустыни, сыгравшей какую-то навсегда неизвестную роль для Гоголя и И. Киреевского, Толстого и Достоевского, Вл. Соловьева и Леонтьева. В частности, влияние о. Амвросия на Леонтьева отличалось такой широкой терпимостью, которой нет ни у русской интеллигенции, ни у христиан-моралистов. С благословения старца Леонтьев написал свою арелигиозную, а кое в чем и «демоническую» статью о романах Толстого. Хотя бы по этому видно еще раз, как Леонтьев был прав, обратившись к церкви, а не к повседневно-христианской морали.

Но все-таки сущность старчества не в личной одаренности старца, а только в его условной авторитетности. Не нужно забывать о несравненно низшем его духовнике, и особенно о том, что какая бы ни была личная пронизательность у старца, она все-таки *несоизмерима с его властью*, с его правом знать и судить *все у всех*. Старчество все основано на чистой от рациональных примесей случайности, на классической покорности судьбе. За чертами христианскими здесь видны идеи более вековечные, строгие линии единственной и единой религии.

С такой точки зрения и развязка жизни Леонтьева и вся его жизнь приобретают исключительный для новой культуры смысл, к которому применима вполне эстетическая оценка. Здесь есть действительное «единство разнообразия». Больше того: в ней осуществились те чистые формы, которые по аналогии можно называть и эстетическими терминами. Жизнь Леонтьева с ее кризисами, просветлениями, антитезами, с исканием аполлони-

чески-ясной радости романтична. Этот аполлонический рай мыслится то в виде «Греции» (параллель: пушкинская «легкокрылая радость»²⁴), то в виде «архитектурного спиритуализма», как Леонтьев любил называть свое строгое и четкое учение, то, наконец, в виде «живописной драмы земного бытия», которую он не только описывал, но и жизненно осуществлял.

Однако романтизм — это уже исключительно — нашел себе завершение. Настал момент, и Леонтьев с полной готовностью жертвы увидал в своей жизни и своем учении *обреченность*, о которой он писал в письме к Е. С. Карцовой: «...поймете ли вы меня, если я вам скажу, что мне ничего не проходит даром; ничего не прощается так, как прощается многим другим»²⁵. Жертва стала необходимой и была им принесена. В этой его последней покорности судьбе видны черты подлинной трагедии, выступающей сквозь пестрый узор его жизни с такой неизбежностью, которая присуща только трагедии античной.

